



Д. С. Лихачев

ИСТОРИЧЕСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРУГОЗОР АВТОРА „СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ“

Каждый раз, когда обращаешься к „Слову о полку Игореве“, оста-
навливаешься в изумлении не только перед его неувядающей красотой,
но и перед мудрой политической прозорливостью ее автора, перед
мудрой оценкой им политических событий своего времени. Изумительны
его эрудиция, независимость его суждений и ясное понимание им про-
исходящего.

Вот почему законно поставить вопрос: откуда черпал автор „Слова“
свои сведения, на какой почве вырастали его суждения, в чем автор
был связан с „общественным мнением“ своего времени, своей среды
и в чем преодолевал его ограниченность, определявшуюся особенно-
стями исторического и политического мышления своей эпохи?

I

Была ли русская история исключительным достоянием письменности? Многочисленные данные говорят о том, что хранителем историче-
ских воспоминаний был сам народ. В 1147 г. киевляне напоминают
своему князю на вече об освобождении Всеслава полоцкого из поруба,
случившемся за 80 лет перед тем, и требуют извлечь для себя урок
из того события и не оставлять в живых Игоря Ольговича. В 1148 г.
новгородцы на вече говорят Изяславу: „Ты наш князь, ты наш Воло-
димир, ты наш Мстислав“. Под Владимиром новгородцы, очевидно,
разумели Владимира I Святославича, бывшего одно время новгород-
ским князем (до своего восхождения в Киеве), а под Мстиславом—
Мстислава Владимировича, сына Владимира Мономаха. Следовательно
память об этих князьях была жива в Новгороде, в широких слоях
новгородского населения.

Иногда князьями предпринимались походы из-за обид более чем
вековой давности. Так, например, в 1178 г. новгородский князь Мстислав
„поиде на Полтъск на зятя своего на Всеслава: ходил бо бяше
дед его на Новъгород и взял ерусалим церковный и сосуды служеб-
ные и погост один завел за Полтеск. Мстислав же все то хотя опра-
вити Новгородскую волость и обиду...“¹. Поход Всеслава относился
к 1066 г., но в летописи о том, что Всеслав „завел за Полтеск“ один
из новгородских погостов, ничего не сказано: возможно это
помнили по преданию.

¹ Ипатьевская летопись.

Несомненно, что народ помнил не только имена и не только факты самих событий. Исторические события больше, чем через столетие, могли вспоминаться с такими подробностями, которые свидетельствуют о том, что в памяти народа сохранялись не исторические перечни, а живые и конкретные картины прошлого. Так, например, перед Липецкой битвой 1216 г. новгородцы говорили Мстиславу Мстиславичу Удалому: „Къняже! Не хоchem измерити на коних, нъ яко отчи наши билися на Кулачьской пеши“ (Новгородская I летопись, 1216 г.). Следовательно в 1216 г. новгородские воины помнили, что в 1096 г., за 120 лет перед тем, предки их сражались с Мстиславом Владимировичем против Олега „Гориславича“ пешими.

Многообразные виды исторической памяти народа могут отчасти быть восстановлены на основании „Повести временных лет“. Воспоминания о прошлом извлечены здесь из пословиц и поговорок („беда аки в Родне“, „погибоша аки обри“, „пищанци волчья хвоста бегают“), из легенд о происхождении городов, племен и княжеских династий (Киев, Переяславль, Рюрик, Радим, Вятко), из исторических рассказов, основанных на диалоге (рассказы о местях Ольги), из родовых преданий (Яна Вышатича) и из героических песен.

„Поэтическое“ отношение к русской истории несомненно предшествовало летописному. Древнейшая летопись уже пользовалась историческими песнями. Это „поэтическое“ восприятие русской истории было одновременно и дофеодальным, тогда как летописное несомненно было порождено феодализмом, знаменовало собой новую, высшую ступень исторического сознания.

В XI и XII вв. патриархально-поэтическое представление о русской истории в различных социальных слоях доминировало над летописным, да и сам летописец еще в начале XII в. в значительной степени поэтизировал и героизировал русское прошлое в духе устной исторической поэзии.

В 1097 г. киевляне послали ко Владимиру Мономаху со словами: „Молимся, княже, тебе и братома твоима, не мозете погубити Русьские земли. Аще бо възмете рать межю собою, погани имуть радоватися, и возмутъ землю нашу, иже беша стяжали отци и деди ваши трудом великим и храбрьствомъ, побарающе по Русьской земли, ины земли приискываху, а вы хотите погубити землю Русскую“ (Лаврентьевск. лет.). В этих словах киевлян ясно ощущается идеализация „отцов и дедов“, их „труда“ и их „храбрьства“. Эта идеализация отнюдь не свидетельствует о какой-либо консервативности киевского населения, ее происхождение — поэтическое. Киевляне не раз напоминали своим князьям о героическом прошлом Руси и в других случаях. В этих представлениях широких масс киевского населения о русской истории чувствуется знакомство с иею на основании исторических песен в первую очередь. Не случайно в середине XI в. митрополит Иларион говорил, обращаясь к Ярославу о его предках, „иже славятся ныне и слывут“.

Едва ли эти поэтические представления о русском прошлом и самое знакомство с историческими песнями были распространены только среди эксплуатируемых слоев населения XI—XII вв. То же поэтическое представление о героическом прошлом русского народа находим мы и у Владимира Мономаха. В своем „Поучении к детям“ он пишет: „то бо были рати при умных дедех наших и при блаженых отцих наших“ (Лаврентьевск. лет., под 1096 г.).

Повидимому, эти поэтические, героизирующие старых русских князей, представления о русской истории были основаны на песнях, слагав-

шихся во славу того или иного деятеля русской истории. О песне, сложенной во славу Мстислава Удалого, прямо говорит, например, польский историк XV в. Ян Длугош — Русь сложила эту песнь в честь Мстислава тотчас же после его победы в 1209 г. над поляками и венграми под Галичем:

„О великий княже и победитель, Мстислав Мстиславич!
О храбрый сокол, устрашающий храбрых и сильных
и войска их, посланный богом!
Пусть перестанут гордиться те, кто мнили,
победив тебя, себе присвоить победу,
ибо все они посрамлены и разбиты тобою,
великолепным и славным господином нашим“.¹

В дальнейшем мы подробно остановимся на песнях, слагавшихся в народе в честь того или иного героя русской истории. Пением „славы“ встречали в своем городе князей, возвращавшихся из победоносного похода. В этих „славах“ перечислялись их подвиги, они становились со временем историческими песнями, сохраняя полностью свой характер прославлений.

В известной мере и для летописца начало русской истории, воспроизведенное им на основании тех же исторических песен „прославлений“, было напоено героизмом. Хвала и прославление отчетливо дают себя чувствовать в изображении первых русских князей — Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира. Напротив того, обращаясь к князьям — своим современникам, — летописец уже не воздает им хвалы, — он противопоставляет им прежних князей. Тем самым героизирующее и поэтическое отношение к прошлому превращается в критическое и учительное отношение к современности. Это героическое и учительное, одновременно, значение русской истории прямо подчеркнуто, и в тех же выражениях, что и у киевлян в 1097 г., в предисловии к Начальному своду: „Вас молю, стадо Христово: с любовию приклоните ушеса ваша разумно! Како быша древни князи и мужи их. И како отбараняху Руския земля и иныя страны приемаху под ся: тии бо князи не сбирааху многа имения ни творимых вир, ни продажь въскладааху на люди. Но оже будяше правая вира, а ту взимааше и дружине на оружие дая. А дружина его кормяахуся, воюющи иныя страны, бьющеся: «Братие! Потягнем по своемь князи и по Руской земли». Не жадаху: «Мало мне, княже, 200 гривен!» Не кладяаху на свои жены золотых обручей, но хожааху жены их в сребре. И росплодили были землю Русскую...“. (Соф. I лет.).

Так из устной, народной истории Русской земли летопись заимствует не только факты, не только пользуется песнями как историческими источниками, но в некоторой степени заимствует из них освещение этих фактов, заимствует общее представление о русской истории, идеализируя времена далекого прошлого, и ставя эти представления, эту идеализацию далекого прошлого на службу политическим задачам современности.

Дописьменные, дофеодальные, устные представления о родной истории, отложившиеся в исторических песнях и преданиях IX—X вв., в эпоху феодальной раздробленности и развития письменности не отмирают. Они переходят в иную сферу сознания: они становятся достоянием художественного творчества народа, при этом

¹ Цитирую в переводе с латинского А. В. Соловьева (Политический кругозор автора „Слова о полку Игореве“. Историч. зап., № 25, М.—Л., 1948, стр. 98).

устного по преимуществу. Это поэтическое отношение к русской истории доживает и до нового времени в виде былин и исторических песен. И эти былины и исторические песни противостоят письменной истории уже не как донаучное отношение к историческим событиям — научному, а как собственно „поэтическое“ — научному. В исторических песнях народа заключена была не только историческая, но и эстетическая ценность, которая делала их живучими и в XI, и в XII вв. и позднее. Дофеодальные представления об историческом прошлом родины переосмысляются в новой исторической обстановке XI—XII вв. как поэтические. Народное творчество XI—XII вв. сохраняет свою преемственность с IX—X веками и, вместе с тем, продолжает развиваться, расти. Старые формы наполняются новым содержанием, становятся историческими по преимуществу. Песни в честь героев живых или недавно умерших, представлявшие собой „славы“, „похвалы“, теперь воспринимаются как песни о русской старине, противопоставляемой новому времени. В XI—XII вв. в народном творчестве появляется сильный элемент противопоставления старого патриархально-дружинного времени — новому, старых порядков — новым. Восхваление героя превращается в восхваление русской старины. Старые князья становятся знаменем ушедшего прошлого, символом утраченного единства. Идеализация прошлого была элементом прогрессивным, поскольку идеализировалось не все прошлое в целом, а только некоторые его стороны — прогрессивные и нужные в XI—XII вв.

В самом деле, если мы возьмем все исторические предания, отложившиеся в начальной части „Повести временных лет“, мы отчетливо увидим в них восхищение „мудростью и хитростью“ старых князей: Олега, Игоря, Ольги, Святослава. Восхищение военными подвигами Святослава еще может смешиваться в этих исторических преданиях с упреками ему же в недостаточном „блюдении“ Русской земли. Позднее воспоминания об этих „старых“ князьях неизменно сопровождаются настойчивой мыслью о них, как о создателях русского государства — единого и обширного. Из героев „мудрых и хитрых“, ловко умевших обманывать врагов, из героев, установивших славу русского оружия по преимуществу, они становятся „умными дедами и отцами“, защищавшими интересы не свои личные, но интересы родины, героями, создавшими русское государство.

То же новое качество фольклора в XII в. выступает не только в историческом эпосе. В самом деле, повышение поэтической, эстетической значимости фольклора ясно ощущается и в поэзии лирической, которой „Слово о полку Игореве“ пользовалось в равной мере с поэзией эпической. В „Слове о полку Игореве“ упоминаются языческие боги, говорится о природе, как о живом существе. Нельзя, однако, думать, что автор „Слова“ верил в этих богов, что для него были действенны анимистические представления дохристианского периода, что он верил в конкретность своих языческих по своему происхождению образов. Автор „Слова“ христианин, старые же дохристианские верования приобрели для него новый поэтический смысл. Он одушевляет природу поэтически, а не религиозно.

Христианские представления для автора „Слова“ лежат вне поэзии. В ряде случаев, как мы увидим в дальнейшем, он отвергает христианскую трактовку событий, но отвергает ее не потому, что он чужд христианства, а потому, что поэзия связана для него еще пока с языческими, дофеодальными корнями. Языческие представления для него обладают эстетической ценностью, тогда как христианство для него еще

чуждо поэзии, хотя сам он несомненный христианин (Игорю помогает бежать из плена бог, Игорь по возвращении едет к Богородице Пирогщей и т. д.).

Мы можем предполагать, что имена языческих богов упоминались в народной поэзии XII в., как, отчасти, они упоминаются еще и в народной поэзии нового времени (XVIII—XIX вв.). Они были живы и в народной поэзии XII в., как об этом свидетельствует само „Слово о полку Игореве“. Однако конечно, в XII в. языческие боги не были уже предметами верования и поклонения, они были символами определенных явлений природы, стихий, широкими обобщающими образами, и только.

Подобно тому, как языческие боги в фольклоре становятся поэтическими образами, так и старые песни эпохи патриархально-общинного строя в честь героев, возможно входившие в состав того или иного ритуала, становятся явлениями исторической поэзии по преимуществу. Фольклор в XII в. еще традиционно сохраняет свою связь с дофеодальным периодом исторического развития Руси, но переосмыслияет и изменяет свое содержание в новых общественных условиях феодального общества, приобретает новое качество. В нем усиливаются элементы поэтические, ослабевают элементы религиозные. Исторические воззрения, отложившиеся в старых эпических песнях, „славы“ героям, вступившие в противоречие с новым историческим сознанием эпохи феодализма, лучше всего отразившимся в летописи, становятся достоянием народной поэзии. И подобно тому, как упоминание языческих богов в „Слове о полку Игореве“ не противоречило христианским воззрениям автора, так и поэтическое восприятие русской истории, выросшее на почве дофеодального исторического эпоса, могло сосуществовать рядом с новым историческим сознанием эпохи феодализма. Фольклор в „Слове“ — это фольклор, еще традиционно сохраняющий свою связь с дофеодальным периодом исторического развития Руси, но переосмысленный и изменивший свое содержание в новых исторических условиях феодального общества.

Итак, поэтическое восприятие мира автором „Слова о полку Игореве“ было фольклорным. Так же точно и восприятие прошлого Руси, как мы увидим в дальнейшем, было у него поэтическим и фольклорным по преимуществу.

Несмотря на то, что отношение к русской истории было у автора „Слова“ облечено в народно-поэтические формы, это не означает, что он во всех своих конкретных сведениях о русской истории пользовался только данными фольклора. Автор „Слова“ не пассивно следовал за фольклором. Он творил свою историческую концепцию, но творил ее в рамках своего поэтического ее понимания. Источниками же его исторической осведомленности были и летопись и исторический эпос. Автор „Слова“ был знаком и с тем, и с другим. Он безусловно был человеком грамотным и начитанным, но, вместе с тем, он был „наслушан“ в фольклоре, был проникнут его поэтическим отношением к прошлому. Автор „Слова о полку Игореве“ пользуется историческими данными, почерпнутыми и из исторических песен, и из летописи. Его знакомство с русской историей не находится в зависимости только от какой-нибудь одной из этих форм исторической памяти.

Целый ряд признаков указывает на то, что автор „Слова“ был знаком с „Повестью временных лет“. Прежде всего отметим, что его исторические воспоминания все связаны с событиями, отмеченными в „Повести“, и не выходят за ее пределы. Автор „Слова“ упоминает события от Владимира „старого“ до Владимира Мономаха. Мономах —

последний из упоминаемых им князей прошлого. За ним, минуя всех русских князей первой половины XII в., автор „Слова“ упоминает только князей — своих современников. Автор „Слова“ как будто бы не знает киевской летописи XII в., он не упоминает ни одного события русской истории первой половины XII в., но зато хорошо осведомлен о событиях XI в., получивших свое отражение в „Повести“.

Эта хронологическая ограниченность исторического кругозора автора „Слова“ пределами „Повести“ сама по себе уже, как будто бы, говорит за то, что автор „Слова“ пользовался именно „Повестью временных лет“. Однако о том же говорит целый ряд мелких соответствий — в выборе выражений, в выборе упоминаемых деталей исторических событий, в их освещении, и т. п., — в сумме составляющих картину несомненного знакомства автора с „Повестью“. Автор „Слова“ как бы видит исторические события XI в. в освещении „Повести“. В ряде случаев автор „Слова“ отступает от освещения событий, которое дает „Повесть“, но автор „Слова“ именно отступает, отстает, отталкивается от объяснений „Повести“, т. е. в конечном счете исходит из нее.

В начале своего произведения автор „Слова“ определяет хронологические пределы своего рассказа: „почнемъ же, братие, повѣсть сию отъ старого Владимира до нынѣшняго Игоря...“. Такое определение в начале произведения хронологических пределов своего повествования типично для исторической литературы XI—XII вв. Его мы найдем в „Повести временных лет“ под 852 г. и в предисловии к Начальному своду, сохранившемуся в новгородских летописях: „Мы же от начала Руски земля до сего лета и все по ряду известно да скажем, от Михаила царя до Александра и Исаакья“.¹

Итак, автор „Слова“ обещает вести свой рассказ „отъ старого Владимира до нынѣшняго Игоря“. Под „старым Владимиром“ следует несомненно разуметь не Владимира Мономаха, как предполагали большинство исследователей, а Владимира I Святославича, так как именно этот последний только и может служить начальною историческою вехою повествования „Слова“. В самом деле, автор обещает начать свою „повесть“ от „старого Владимира“ и ведет свое повествование от Владимира Святославича, а не от Владимира Мономаха, делая перерыв в упоминаемых событиях как раз после Владимира Мономаха, которого однажды упоминает как „Владимира, сына Всеволожа“.² Об этом „старом“, „первом Владимире“ сказано в „Слове“ и в дальнейшем: „того старого Владимира нельзѣ бѣ пригвоздити къ горамъ киевьскимъ“. И здесь, несомненно, имеется в виду Владимир I Святославич с его многочисленными походами. Этим многочисленным походам Владимира на внешних врагов Русской земли противопоставлено несогласие войска Давида выступить вместе с войском Рюрика против половцев в 1185 г.: „сего бо нынѣ сташа стязи Рюриковы, а друзья — Давидовы, нѣ розно ся имъ хоботы пашутъ“.

Таким образом, автор „Слова“ вспоминает „старого Владимира“ только в связи с его далекими походами на врагов Русской земли. Это представление о Владимире соответствует основной идеи автора, противопоставляющего и в других местах „Слова“ единство Руси в отдаленном прошлом усобицам своего времени. Но это же представ-

¹ Новгородская первая летопись. СПб., 1888, стр. 2.

² А. В. Соловьев. Политический кругозор автора „Слова о полку Игореве“. Историч. зап., № 25, М.—Л., 1948, стр. 73.

ление о Владимире соответствует к летописному, и народному. Большинство лет княжения Владимира в „Повести временных лет“ начинается с извещения о его походах:

„В лето 6489. Иде Володимер к ляхом и зая грады их, Перемышль, Червен и ины грады, иже суть и до сего дне под Русью. В сем же лете и вятичи победи, и възложи на ня дань от плуга, яко же и отецъ его имаше.

В лето 6490. Заратиша вятичи, и иде на ня Володимер, и победи я второе.

В лето 6491. Иде Володимер на ятвяги, и победи ятвяги, и взя землю их...

В лето 6492. Иде Володимер на радимичи...

В лето 6493. Иде Володимер на болгары с Добрынею с уем своим...

В лето 6496. Иде Володимер с вои на Корсунь...

В лето 6500. Иде Володимер на хорваты. Пришедши бо ему с войны хорватъскыя, и се печенези придоша по оной стороне от Сулы; Володимер же поиде противу им...“.

(Цит. по Лаврентьевской летописи).

Об этих далеких походах Владимира помнили и в XI, и в XII, и в XIII вв. Его походы были как бы мерилом дальности походов других русских князей. Под 1229 г. галицкий летописец записал о походе Даниила Романовича в Польшу: „Иный бо князь не входил бе в землю Лядьску толь глубоко, проче Володимера великаго, иже бе землю крестил“ (Ипатьевск. лет. под 1229 г.). Под 1254 г. галицкий летописец отметил о походе Даниила в Чехию: „Данилови же князю хотяющ, ово короля ради, ово славы хотя, не бе бо в земле Русцей первее, иже бе воевал землю Чешьску, ни Святослав хоробры, ни Володимер святый“ (Ипатьевск. лет. под 1254 г.).

Уже в XVI в. составитель Никоновской летописи, расширивший повествование о княжении Владимира за счет былинных источников, сообщил дополнительные сведения о походах Владимира.

Таким образом, представления автора „Слова о полку Игореве“ о Владимире были распространенными, народными о ней представлениями, в равной мере характерными и для летописцев, и для „песнотворцев“.

Следующий после Владимира князь, о котором упоминает автор „Слова“, — Ярослав Мудрый. О „старом Ярославе“ автор „Слова“ не говорит ничего конкретного. Он упоминает его в связи с тем, что ему, Ярославу, пел свои песни Боян, и упоминает о Ярославовой славе Новгорода. Ярослав, следовательно, для автора „Слова“ не только киевский князь, но и новгородский: с ним связывает он начало новгородской „славы“, как в Новгороде связывали с ним начало новгородской независимости. Это представление о Ярославе автор „Слова“ не мог перенять из „Повести временных лет“, — оно взято им из народных представлений, при этом по преимуществу новгородских.

О Мстиславе Владимировиче Тмутараканском автор „Слова“ говорит, как о князе, которому пел песню Боян: „пѣснь пояше... храброму Мстиславу, иже зарѣза Редедю предъ пѣлки касожьскими“. Несомненно, что автор „Слова“ знал об этих песнях Бояна из фольклорной традиции, однако некоторые совпадения с „Повестью временных лет“, думается, также не случайны. Автор говорит „зареза“, т. е.

употребляет то самое выражение, что и „Повесть“ (ср. в „Повести“ под 1022 г. рассказ о том, как Мстислав перед полками русских и касогов победил в поединке касожского князя Редедю, а затем „вынеле ножь, зареза Редедю“). Автор „Слова“ говорит „предъ пълкы касожскими“ и тем самым снова обращает внимание своего читателя на ту же деталь, на которую обратил внимание и летописец (ср. в „Повести“: „и ставшема обѣма полкома противу собѣ“).

Похоже на то, что автор „Слова“ говорит о песне Бояна словами „Повести временных лет“ не случайно: он поясняет менее известное более известным — тему песни Бояна словами „Повести“. Здесь, следовательно, возможно переплетение двух параллельных источников: устного (восходящего к песням Бояна) и летописного.

Упоминает автор „Слова“ и о другом тмутараканском князе — Романе Святославиче, сыне Святослава Ярославича Тмутараканского, также со ссылкой на Бояна, певшего песни ему, „красному Романови Святославичю“. Этот эпитет „красный“ „Повести временных лет“ неизвестен. Он, очевидно, принадлежит устному источнику. Эпитет „красный“ „Повесть временных лет“ прилагает только к брату Романа Святославича — Глебу („бе же Глеб... взором красен“), о Романе же „Повесть“ упоминает всего два раза. Нет ничего удивительного в том, что красою отличались оба брата Святославича, но знать об этом автор „Слова“ мог только из устного источника.

С полной очевидностью летописный источник выступает в двух упоминаниях „Слова“: о Борисе Вячеславиче — сыне князя Вячеслава Ярославича, и о Ростиславе Всеволодовиче, сыне Всеволода Ярославича.

О смерти Бориса Вячеславича „Слово“ говорит: „Бориса же Вячеславича слава на судъ приведе и на Канину зелену паполому постла“... Летопись не говорит о том, когда произошла битва, в которой погиб Борис. Знал ли автор „Слова“ из каких-то дополнительных источников, что битва произошла тогда, когда росла трава, послужившая ему „зеленою паполомой“ (зеленым, а не черным, как обычно, погребальным покрывалом)? Я думаю, что никаких точных сведений о времени битвы у автора „Слова“ не было. Это чисто поэтический образ. Вырос этот образ на основе фольклорных представлений о телах убитых, лежащих „на земле пусте, на траве ковыле“ („Повесть о разорении Рязани Батыем“), но возможно возбужденный ассоциацией под влиянием названия местности, где произошла битва — на „Нежатиной Ниве“ („Повесть временных лет“ под 1078 г.).

Иное, историческое на этот раз, объяснение имеют слова „Слова о полку Игореве“ о том, что Бориса Вячеславича „слава на судъ приведе“.

Ту же трактовку смерти Бориса Вячеславича находим мы и в „Повести временных лет“: смерть Бориса Вячеславича поставлена в связь с его похвальбой перед битвой на Нежатиной Ниве 1078 г.: „Рече же Олег [Святославич] к Борисови: «Не ходиве противу, не можеве stati противу четырем князем, но посливе с молбою к стрыема своим». И рече ему Борис: «Ты готова зри, аз им противен всем»; похвалившись велми, не ведый яко бог гордым противится, смеренным даете благодать, да не хвалиться силный силою своею... Первого убиша Бориса, сына Вячеславя, похвалившагося велми“. Итак, и в летописи, и в „Слове“ смерть Бориса Вячеславича рассматривается как возмездие за его похвальбу. Не может быть сомнения в том, что эта связь не случайна: автор „Слова“ и здесь свои исторические сведения черпал из „Повести временных лет“. Однако связь эта объяснена различно: в „Повести

временных лет“ ей придана религиозная трактовка: „не ведый, яко бог гордым противится“; в „Слове“ же эта религиозная трактовка снята: „слава на судъ приведе“. Не бог, следовательно, приводит Бориса Вячеславича на суд, а сама „слава“, персонифицированная с тою же художественною осторожностью, с какою персонифицированы в „Слове“ „обида“ („въстала обида... вступила дѣвою... въсплескала лебедиными крылы“), „беда“ („уже бо бѣды его пасеть птиць по дубию“), „тоска“, „печаль“ („тоска разлияся... печаль жирна тече“), „лжа“, „котора“ („уже лжу убудиста которою, ту баше успилъ отецъ ихъ Святъславъ...“), „веселье“ („а веселье пониче“), „хула“ и „хвала“ („уже снесеся хула на хвалу“), „нужда“ и „воля“ („уже тресну нужда на волю“), грозы („грозы твоя по землямъ текутъ“). Это переосмысление летописной трактовки смерти Бориса Вячеславича не случайно. Ниже мы увидим, что оно имеет и другие параллели: автор „Слова“ постоянно отходит от религиозной, христианской точки зрения на события русской истории.

С летописью связано и упоминание о смерти „уноши“ Ростислава: „Не тако ти, рече (говорит Игорь Донцу), рѣка Стугна; худу струю имъя, пожрьши чужи ручьи и стругы, рострена къ устью, уношу князю Ростиславу затвори. Днѣпръ темнѣ березѣ плачется мати Ростиславля по уноши князи Ростиславъ. Уныша цвѣты жалобою и древо с тugoю къ земли прѣклонилось“. Этот эпизод и в „Повести временных лет“ изложен с поэтическим чувством: „И бысть брань лута; побѣже и Володимер с Ростиславом и вои его. И прибегоша к реце Стугне, и вбреде Володимер с Ростиславом, и нача утапати Ростислав пред очима Володимерима. И хоте похватити брата своего и мало не утопе сам. И утопе Ростислав, сын Всеволожъ. Володимер же пребред реку с малою дружиною... плакася по брате своем и по дружине своей; и иде Чернигову печален зело... Ростислава же искавше обретоша в реце; и вземше принесоша ѿ Кіеву, и плакася по немъ мати его, и вси людье пожалиша си по немъ повелику, уности его ради. И собирашася епископи и попове и черноризци, песни обычныя певше, положиша ѿ у церкви святыя Софы у отца своего“ (Лаврентьевск. лет. под 1093 г.). Автор „Слова“ поэтически переосмыслил этот текст „Повести“. В его кратких словах не забыты такие лирические детали летописного текста как плач матери и юность князя, безвременно утонувшего в Стугне, но добавлены и новые, поэтически досмысленные: мать плачет на темном берегу Днепра (ср. „ту ся брата разлучиста на брезѣ быстрой Каялы“; „се бо готьскыя красныя дѣвы въспѣша на брезѣ синему морю“), цветы унывают жалобою и дерево стоскою к земле преклонилось (этот образ унывающих цветов и преклоняющегося дерева принадлежит также несомненно автору, а не взят им из каких-либо устных источников; ср. выше: „ничить трава жалощами, а древо с тugoю къ земли преклонилось“, или „нъ уже, княже Игорю, утрѣпъ солнцю свѣть [ср. в описании плача матери по Ростиславе „темнѣ березѣ“], а древо не бологомъ листвие срони“). Здесь, следовательно, к летописной трактовке события добавлены народно-песенные детали, но детали эти принадлежат самому автору „Слова“. Все эти поэтические добавления составлены в фольклорном духе, но они не свидетельствуют о существовании какой-то особой песни о гибели Ростислава, откуда они могли быть взяты: они принадлежат автору „Слова“ и типичны для его поэтической манеры. Замечательна здесь и еще одна черта, уже отмеченная нами выше в словах автора „Слова“ о Борисе Вячеславиче: автор „Слова“ как бы не заметил все то в летописи, что имеет религиозный смысл, — о Рости-

славе плачет его мать, но церковные похороны в святой Софии с пением „обычных песен“ не нашли поэтического отклика в „Слове“.

Вместе с тем автор „Слова“ не считается и с церковным историческим источником, из которого в XII в. он мог почерпнуть сведения о гибели Ростислава, — с протографом „Киево-печерского патерика“. В Печерском монастыре осталась худая слава о Ростиславе. Это видно из жития Григория, включенного в „Патерик“. Там рассказывалось о том, что Ростислав велел бросить Григория в воду и за это сам через некоторое время утонул в Стугне. Не знал ли автор „Слова“ этой киевопечерской версии, или сознательно ее отбросил, — и то и другое для него характерно: автор „Слова“ здесь, как и в других местах своего произведения, стоит вне церковной исторической традиции.

Нельзя не видеть, какие жемчужины поэзии отобраны автором „Слова“ в „Повести временных лет“: поединок Мстислава Владимировича с касожским князем Редедею, трагическая смерть Бориса Вячеславича, трагическая безвременная смерть „уноши“ Ростислава и оплакивание его матерью. Даже вне зависимости от умелого использования этих эпизодов в „Слове“, от поэтической их доработки, самый выбор этих мест, в „Повести временных лет“ мало заметных и эпизодических, но привлекательных по своему глубокому человеческому содержанию, говорит, что в лице автора „Слова“ „Повесть временных лет“ нашла внимательного и чуткого к ее жизненной красоте читателя.

Однако с наибольшей полнотой поэтическое понимание автором „Слова“ текста „Повести временных лет“ нашло себе выражение не в этих „случайных“ упоминаниях только „инкрустирующих“ поэтический рассказ „Слова“, а в образах двух зачинщиков феодальных смут, двух родоначальников самых беспокойных княжеских гнезд — Олега „Гориславича“ и Всеслава Полоцкого.

Перед нами в „Слове“ не только портреты двух этих князей, но в известной мере суммарные характеристики их непокорных и суеверных потомков — ольговичей и всеславичей. В самом деле, по мысли автора князья и княжества всегда являются носителями „славы“ их родоначальников, предков, основоположников их независимости: черниговцы без щитов с одними засапожными ножами кликом полки побеждают, „звонячи въ прадѣнью славу“. Изыслав Василькович позвенел своими острыми мечами о шлемы литовские, „притрепа славу дѣду своему Всеславу“; Ярославичи и все внуки Всеслава уже выскочили „изъ дѣней славѣ“; Всеслав, захватив Новгород, „разшибе славу Ярославу“ и т. д. Все это не пустые слова: с точки зрения автора „Слова“ „славу“ нынешних князей и княжеств уставили „деды“, следовательно „деды“ нынешних князей черниговских и полоцких — Олег Святославич и Всеслав Брячиславич — живы в действиях своих потомков. Автор „Слова“ не случайно дает характеристику именно этим князьям: он говорит о их злосчастной судьбе, чтобы призвать к миру и согласному действию против степи их беспокойных потомков. Представления о том, что сыновья и внуки продолжают политику отцов и дедов были обычными в древней Руси.

Характеристика Олега „Гориславича“ предшествует сообщению о поражении Игоря. Поражение Игоря рассматривается, как непосредственное следствие политики феодальных раздоров, начавшейся при Олеге. Рассказав об усобицах Олега, автор „Слова“ переходит прямо к поражению Игоря: „То было въ ты рати и въ ты плѣкы, а сицей рати не слышано!“, т. е. те все несчастья были от тех ратей и тех походов, но эта рать Игоря превзошла своими последствиями усобицы

Олега. Рассказу о Всеславе в „Слове“ непосредственно предшествует обращение к потомкам Всеслава и их противникам ярославичам.

В самом деле, как понять следующее место „Слова“: „Ярославе и все внуце Всеславли! Уже понизите стязи свои, вонзите свои мечи вережени. Уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ. Вы бо своими крамолами начясте наводити поганыя на землю Русскую, на жизнь Всеславию. Которою бо бѣша насилие отъ земли Половецкыи!“.

О каком Ярославе здесь идет речь? Может быть это Ярослав Все-володович Черниговский, как думают одни комментаторы?¹ Или Ярослав Владимирович внук Мстислава Владимира, как думают другие.² Но эти Ярославы не только не воевали с полоцкими князьями, но не были даже их соседями. Поэтому М. Максимович³ предполагает, что здесь говорится о Ярославе Юрьевиче Пинском, который имел общие границы с полоцкими князьями и мог (!) вместе с ними воевать против половцев.

Однако из контекста „Слова“ ясно, что речь идет не о войне Ярослава в союзе с полоцкими князьями против половцев, а о междуусобной войне. Автор „Слова“ укоряет обе стороны за „которы“. Войны против „поганых“ автор „Слова“ мог только приветствовать. Автор „Слова“ звал русских князей выступить против половцев и в равной мере против литовских племен, нападавших на Русь.

Но о междуусобной войне Ярослава Юрьевича с полоцкими князьями ничего неизвестно. Да если бы и было известно, — это было бы слишком мелким эпизодом для того исторического обобщения, которое дает автор „Слова“. Ведь речь идет о „которах“, а не о „которе“, о разорении „жизни Всеславия“. Совсем неточно определяет Ярослава А. В. Соловьев в своей, в общем превосходной, работе „Политический кругозор автора «Слово о полку Игореве»“. Он пишет: „Следующее обращение — «Ярославе и все внуци Всеславли» опять называет неизвестного нам князя, происхождение которого трудно установить. Многие комментаторы полагают, что это Ярослав Юрьевич турково-пинский, участник похода 1184 г. на половцев (правнук Святополка Изяславича); другие считают, что это опять упоминается Ярослав Все-володич черниговский. Но нам кажется, что по всему контексту («Ярославе и все внуци Всеславли... уже бо выскочисте изъ дѣдней славы») здесь имеется в виду еще какой-то полоцкий князь, один из многих правнуков венчего Всеслава. Они своими крамолами (раздоры между Васильковичами, Глебовичами и Борисовичами) начали наводить поганых на землю Русскую на жизнь Всеславию, т. е. половцев на русское полоцкое княжество, на богатство и наследство Всеслава. Полагаем, что тут намек на события 1180 г., когда раздоры между линиями полоцких князей вызвали приход Игоря северского к Друцку вместе с ханами Кончаком и Кобяком, бывшими тогда его союзниками“.⁴ Однако по всему контексту ясно, что здесь в „Слове“ имеется в виду какое-то крупное историческое явление. Какое же?

Я предполагаю, что в слове „Ярославе“ при его прочтении издателями вкралась ошибка. В этом слове издатели не прочли вынос-

¹ П. Вяземский. Замечания на „Слово о полку Игореве“. 1875; Исследования о вариантах. 1887.

² О. Огоновський. „Слово о полку Игореве“ — поетичний пам'ятник руської письменності XII в. Львів, 1876; Ф. Буслаєв. Историческая хрестоматия древнерусской литературы. М., 1861, стлб. 611.

³ Песнь о походе Игоря. Украинец, 1859, кн. 1, стр. 109, прим. 38.

⁴ Историч. зап., № 25, 1948, стр. 84.

ного „л“. Читать следует не „Ярославе“, а „Ярославли“: „Ярославли и все внуце Всеславли!“

Перед нами призыв прекратить вековые „которы“ ярославичей и полоцких всеславичей.

Родовое гнездо полоцких князей противостоит в сознании людей XII в. всему потомству Ярослава Мудрого. Летопись противопоставляет полоцких князей другим русским князьям, называя последних ярославичами. Под 1128 г. в Лаврентьевской летописи мы читаем рассказ о причинах вражды полоцких князей с „ярославичами“. Это известное повествование о Рогнеде и Владимира. Заключается рассказ Лаврентьевской летописи следующими словами: „И оттоле мечь взимают роговоложи внуци противу ярославлим внуком“. Через 50 с лишним лет автор „Слова“ имел право говорить не о рогволовых внуках, а о „внуках Всеславлих“, но „Ярославле внуки“ остались все те же.

В самом деле, полоцкие князья представляли собой особую линию русских князей, едва ли не первыми начавших процесс феодального дробления Руси. Особая жизнь Полоцкого княжества была утверждена еще при Владимире.

Владимир „воздвиг“ отчину Рогнеде и сыну своему от Рогнеды — Изяславу в Полоцке. Рогнеда была дочерью полоцкого князя Рогволода. Полоцкие князья, чуждавшиеся потомства Владимира, сами себя считали Рогволовыми внуками — по женской линии. И отчину свою вели не от пожалования Владимира, а по линии наследования от Рогволода. Автор „Слова“ не называет полоцких князей „Рогволовими внуками“, и это не случайно. От Изяслава Полоцкая земля досталась Брячиславу, а от последнего Всеславу, чтобы потом пойти в раздел сыновьям последнего. Все полоцкие князья были потомками Всеслава. Их автор „Слова“ и называет „Всеславлими внуками“. Их он противопоставляет потомству Ярослава, но не потомству Владимира, так как и те и другие были его потомством. Характерно, что полоцких князей автор „Слова“ называет внуками Всеслава, а не внуками Рогволода, как летопись под 1125 г. Рогволововичами называли полоцких князей в местных, областнических целях те, кто видел в них не потомков Владимира I Святославича, а обособленную линию князей, шедшую по женской линии от неродственного князя Рогволода. Автор „Слова“ называет их Всеславичами, т. е. признает их родственность всем русским князьям через Владимира I Святославича; он не признает особой „женской“ генеалогической линии полоцких князей через Рогнеду к Рогволоду. И в этом отношении он последователен в своем взгляде на полоцких князей, стоит не на местной полоцкой, а на общерусской точке зрения.

Итак, в этом месте „Слова“ речь идет не о какой-то мелкой вражде одного из русских „Ярославов“ 80-х годов XII в. с полоцкими князьями, вражде настолько мелкой, что она даже не была отмечена летописью и только предполагается комментаторами „Слова“, а о большом длительном историческом явлении: о длительной вражде полоцких князей со всеми остальными русскими князьями. Автор „Слова“ говорит о многих „которах“, о разорении жизни Всеславлей, о том, что эти „которы“ наводили „поганых“ (литовцев) на землю Русскую и Полоцкую. Обращается ко всему потомству Всеслава.

И летопись и „Слово о полку Игореве“ точно отражают исторические события. Усобицы полоцких князей, стремившихся обособиться от Киева, с киевскими князьями, безуспешно пытавшимися восстановить зависимость Полоцка от Киева, действительно, наполняют своим

шумом и XI, и XII вв. В этой междоусобной войне автор „Слова“ считает побежденными обе стороны, победителями же оказываются „поганые“ — половцы и литовцы. Эта мысль выражена автором с необыкновенным блеском: „Ярославли и вси внуце Всеславли! Уже понизите стязи свои [как символ поражения, — признаите себя побежденными], вонзите свои мечи вережени [в междоусобных войнах]. Уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ [междоусобицы вас обесславили]. Вы бо своими крамолами начясте наводити поганыя на землю Русскую, на жизнь Всеславию. Которою бо бѣше насилие от земли Половецкии!“

Вот почему автор „Слова“ подобно летописцу и обращается в дальнейшем в большом отступлении к истокам этой громадной вражды, охватившей всех русских и всех полоцких князей, — к истории родоначальника нынешних всеславичей — Всеслава Брячиславича Полоцкого.

Автор „Слова“ — средневековый мыслитель. Он, как и летописцы, стремится доискаться первопричины, начала событий: „откуду есть пошла“ вражда.

Интерес к тому, что мы сейчас назвали бы „повородом“ событий, весьма характерен для средневековья.

Под 1375 г. в летописи Авраамки мы находим особую статью „О войне и о брани, иже бе под Тферью“. В ней говорится о приезде в Тверь Некомата „с бессерманьскою лестью от Мамая“, как о причине последующих событий. Летописец заключает свой рассказ следующим замечанием: „Се же писах того ради, понеже огнь загореся от того“ (ПСРЛ, т. XI, стр. 99, 1889). Аналогично этому и в Симеоновской летописи (как и в некоторых других) вслед за рассказом о том, как в 1433 г. на свадьбе Василия II Софья Витовтовна сняла пояс с Василия Косого, мы находим следующее заключение: „Се же пишем того ради, понеже много зла с того ся почало“.¹ Городские волнения в Новгороде в 1418 г. описаны в Новгородской четвертой летописи, как следствие простой уличной ссоры между „человеком неким Степанко“ и боярином Данилом Ивановичем Божиным внуком. Характерно, что и городские власти Новгорода, занявшиеся расследованием этих социальных волнений, во время которых жители в воинских доспехах вступали в настоящее сражение, решили прежде всего выяснить „вещи сия начало“, т. е. обратились к расследованию той мелкой уличной ссоры, от которой по их мнению все и началось.

История Всеслава Полоцкого — это, конечно, не уличный эпизод. Но ее значение для автора „Слова“ то же, что и история с поясом Софии Витовтовны или приезда в Тверь Некомата, — это первопричина, это „вещи сия начало“.

Интерес к „началу“ длительной истории вражды полоцких князей для автора „Слова“ поддерживается еще характерной для XII века „родовой“ точкой зрения на события русской истории.

Каждый представитель того или иного княжеского рода для XII в. является вместе с тем представителем и политических традиций этого рода, „славы“ рода или родоначальника.

В Олеге „Гориславиче“ и во Всеславе Полоцком автором „Слова“ обобщены два крупнейших исторических явления: усобицы ольговичей и мономаховичей и усобицы всеславичей и ярославичей. Вот почему характеристики этих князей занимают такое большое место в „Слове“. Ограниченный в средствах художественного обобщения законами художественного творчества средневековья, замкнутого в кругу исторических

¹ ПСРЛ, т. XVIII, стр. 172, 1913.

2 Слово о полку Игореве

фактов весьма узкого ряда, автор „Слова“ прибег к характеристикам родоначальников тех князей, обобщающую характеристику которых он собирался дать.

Таким образом, характеристики Олега и Всеслава занимают строго определенное и важное место в идейной композиции „Слова“. Это не случайные вставки и не лирические „отступления“. Они находятся в органической связи с историческими воззрениями автора „Слова“ (к этому вопросу мы еще вернемся). Тем более интересно будет проследить исторические источники этих характеристик.

Обратимся прежде всего к характеристике Всеслава; она целиком согласуется с теми фактами, которые сообщает о нем „Повесть временных лет“. Факты „Повести временных лет“ осмыслены в „Слове“ поэтически. Из них автор „Слова“ строит не только поэтический образ Всеслава, но одновременно дает и историческую оценку его деятельности. Эта историческая оценка, умело согласованная со всей идейной структурой „Слова“, поражает, вместе с тем, глубоким пониманием русской истории.

„На седьмомъ вѣцѣ Трояни връже Всеславъ жребий о дѣвицю себѣ любу“. В дальнейшем, там, где я буду говорить о периодизации русской истории автором „Слова“, я подробно остановлюсь на вопросе о том, что означает выражение „на седьмомъ вѣцѣ Трояни“. Здесь же, забегая несколько вперед, упомяну только, что оно находится в тесной связи с представлениями о Всеславе, как о кудеснике, и в общих чертах означает „на последок языческих времен“. Дальше говорится о кратковременном пребывании Всеслава на киевском столе, и это позволяет нам видеть, вслед за другими исследователями, в девице ему „любой“ — Киев. Опершись на восставших в 1068 г. киевлян, чтобы взойти на киевский стол, Всеслав, действительно, играл своею судьбою — „кинул жребий“. Он был в равной мере чужд восставшим горожанам и феодальной княжеской верхушке Руси. Он не имел реальной опоры ни в одном классе общества; оказавшись вознесенным из „поруба“ на киевский стол, где он смог удержаться всего семь месяцев („дотчеся стружиемъ зата стола киевъскаго“), он только воспользовался случаем — „скакнул“ к киевскому столу.

„Повесть временных лет“ не говорит об активном стремлении Всеслава стать киевским князем. Стремление это может быть предположено лишь по всей ситуации: для заключенного в поруб Всеслава его согласие возглавить восстание было единственным и при этом блестящим выходом из заключения.

Это-то стремление к киевскому столу и вложено во Всеслава автором: „тѣй клюками подпръ ся о кони и скочи къ граду Кыеву“.

Этим выражением „скочи“ подчеркнуто, что Всеслав незаконно захватил киевский стол [ср.: „бе бо прежде того пискун Асаф во Угровьску, иже скочи на стол митрополичъ, и за то свержен бысть стола своего“ (Ипатьевск. лет. под 1223 г.)]. Однако на каких коней оперся Всеслав, чтобы занять киевский стол? Это не могли быть кони его войска, его дружины или его собственные: Всеслав сидел в порубе, в заключении и не имел ни коней, ни конного войска, ему не надо было и подступать к Киеву с конями — он был в Киеве. Ответ на этот вопрос дает „Повесть временных лет“: Всеслав пришел к киевскому княжению в результате восстания киевлян, потребовавших у Изыслава коней и оружия: „Дай... княже, оружие и кони“. Этим-то требованием киевлян коней и воспользовался Всеслав. Благодаря нему он оказался на киевском столе.

Вот как излагаются те же события в „Киевской Руси“ Б. Д. Грекова: „Вече хотело создать новую армию из той части населения, которая не имела ни оружия, ни коней, т. е. из массы городского и сельского простого люда. Изяслав отказался исполнить требование веча, и это послужило поводом к восстанию народных масс в Киеве... Освобожденный Всеслав стал киевским князем по воле веча“.¹ Несомненно, что Всеслав дал киевлянам и оружие и коней. Они были в распоряжении Изяслава, иначе народ и не стал бы их требовать у князя, но Изяслав боялся выдать их киевской „чади“, боясь восстания. Придя к власти Всеслав не мог не удовлетворить этих требований киевлян. Следовательно, выражение „подпръ ся о кони“ следует понимать так же, как „подперь горы угорскии своими желѣзными плѣки“ или „ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти!“ Всеслав подперся конями так же, как Всеволод стреляет живыми шерешами и Изяслав Василькович „звонит“ своими „острыми мечи“, мечами своей дружины, о „шемомы литовьскыя“. Отсюда ясно, что и „подперся клюками“ означает „подперся хитростями“, „коварством“, „свою догадливостью“ (кстати сказать из всех предложенных комментаторами значений слова „клюка“ — только это — „хитрость“ и зарегистрировано памятниками древней русской письменности).

Нам нет смысла углубляться в детали и выяснить почему вопрос о конях стоял так остро в 1068 г. Для нас важно лишь то, что Всеслав пришел к власти, дав киевлянам оружие и коней. Следовательно Всеславу приписана в „Слове“ активная роль в своем освобождении. В „Повести временных лет“ освобождение Всеслава объясняется не „клюками“ Всеслава, а его благочестием и силою креста: „Се же бог яви силу крестную, понеже Изяслав целовав крест, и я й; тем же наведе бог поганья, сего же яве избави крест честный. В день бо Въздвиженья Всеслав, вздохнув, рече: «О кресте честный! понеже к тебе веровах, избави мя от рва сего». Бог же показа силу крестную на показанье земле Русьстей, да не прступают честного креста, целовавше его; аще ли прступить кто, то и зде прииметь казнь и на придущемъ веце казнь вечную“, и т. д. Автор „Слова“ держится лишь фактической стороны „Повести“, но не ее истолкований. Он снимает здесь, как и в других местах, религиозные истолкования „Повести“. Следующая затем фраза „Слова“ также непонятна без текста „Повести временных лет“: „скочи от нихъ лютымъ звѣремъ въ пльночи изъ Бѣлаграда, обѣсися синѣ мъглѣ“. Прежде всего неясно от кого — „отъ нихъ“? В предшествующей фразе речь шла о Киеве и о киевском столе,² но не о людях. Однако о людях шла речь в „Повести временных лет“: „Поиде Изяслав с Болеславом на Всеслава; Всеслав же поиде противу. И приде Белугороду Всеслав, и бывши ноши, утаивъся кыян бежа из Белагорода Полотьску“. Следовательно „они“ — это „кияне“ „Повести временных лет“. Также точно „синяя мгла“ — это мгла ночи, а не „синее облако“, как предполагали некоторые комментаторы. „Слово“ в своей фактической стороне совпадает здесь с „Повестью“, но поэтически по-иному осмыслияет исторические факты: Всеслав „лютым зверем“ ночью бежит от киевлян из Белгорода, скрывшись от них в синей мгле.

¹ Киевская Русь. М.—Л., 1944, стр. 288.

² Вряд ли автор „Слова“ настолько различал и ставил в один ряд Киев и киевский стол, что мог упомянуть именно о них в словах „отъ нихъ“, слишком неточно соединенных для этого, в целом, изумительно точного в выборе выражений произведения.

Следующая затем фраза не может быть объяснена из обычного текста „Повести временных лет“: „утръже воззни“ (в издании 1800 г.) или „утръже вазнистри кусы“ (в екатерининской копии). Общепринятое в настоящее время понимание „утръ же воззни стрикусы“ в связи с последующим „отвори врата Новуграду, разшибе славу Ярославу“ находится в противоречии с текстом „Повести временных лет“: Всеслав бежал из Белгорода в Полоцк, в Новгороде же он появился за $1\frac{1}{2}$ —2 года перед тем.

Разгадка этого странного для автора „Слова“ анахронизма заключается в том самом тексте Софийской первой летописи и сходных с нею, в котором И. М. Кудрявцев, не так давно, нашел текст, оправдывший рассказ о похоронах Изяслава у святой Софии в Киеве.

В Софийской первой, в Новгородской первой младшего извода в результате дублировки известий, получившейся от соединения новгородских летописей и киевской „Повести временных лет“ с различной хронологической сетью, Всеслав трижды появляется в Новгороде и один раз (последний) как раз в 1069 г. после бегства его из Киева.

Это не означает, что автор „Слова о полку Игореве“ пользовался Софийской первой летописью, сложившейся уже в XV в., или вообще какою-либо новгородской летописью. Это означает лишь, что в руках у автора „Слова“ был текст „Повести временных лет“ в соединении с новгородской летописью. Такой текст реально дошел до нас в новгородской традиции, но он мог быть и в Чернигове — черниговские князья неоднократно занимали стол в Новгороде.

Назовем одного такого черниговского князя, бывшего в Новгороде, — это Святослав Ольгович, сын Олега „Гориславича“. Этот князь был первым новгородским князем, занявшим новгородский стол после известного переворота 1136 г., установившего в Новгороде новый республиканский порядок. При этом князе, с которым началась в Новгороде новая политическая жизнь, был составлен, как я доказываю в своей работе „Софийский временник и новгородский политический переворот 1136 г.“,¹ тот самый „Софийский временник“, который лег впоследствии в основу Софийской первой и других новгородских летописей. Этот свод представлял собою соединение киевских летописей с новгородскими, в результате которого и получились все эти дублировки.

Этот новгородский князь Святослав Ольгович, при котором в Новгороде был составлен этот свод, объясняющий два места в „Слове“, был не кто иной как отец Игоря Святославича Новгород-северского — впоследствии князь Новгород-северский, а затем и Черниговский, с которым и М. Д. Приселков связывал появление особого летописца Святослава Ольговича. Этим указывается один из возможных (но не единственных) путей, каким могла попасть в руки автора „Слова о полку Игореве“ летопись, в некоторых из своих известий схожая с Софийской первой.

Вторично сравнивает автор „Слова“ бегство Всеслава с бегством зверя: „скочи влькомъ до Немиги съ Дудутокъ“.

Всеславу действительно пришлось бежать из Новгорода — „съ Дудутокъ“ (согласно Н. М. Карамзину — монастырь под Новгородом), но о бегстве этом именно к Немиге — нет сведений в „Повести временных лет“. Нет в „Повести временных лет“ и сведений о Дудутках: здесь,

¹ Историч. зап., № 25, М., 1948.

возможно, сказалось непосредственное или „устное“ знакомство автора „Слова“ с топографией Новгорода.

Быстрота передвижения Всеслава, его „неприкаянность“ — черты его реальной биографии. Вот, что пишет о нем В. В. Мавродин: „Надо отметить, что Всеслав действительно колесил по всей Руси, с боем отстаивая свои права, отбиваясь от нападавших, стремясь захватить города и волости, отбить свою «отчину». Бегство, «порубы», кратковременный успех в Киеве, когда восстание выносит его на гребень волны, снова бегство, неудачи и т. п. — вот жизненный путь Всеслава, которого автор «Слова о полку Игореве» сравнивает с ненаходящим себе места и покоя рыскающим волком. За образным выражением, мифической оболочкой скрывается реальное, конкретное содержание, подлинная жизнь Всеслава“.¹ Есть и еще одно свидетельство реальной быстроты передвижений Олега. Мономах говорит в своем „Поучении“, что он гнался за Всеславом (в 1078 г.) со своими черниговцами „о двою коню“ (т. е. с поводными конями), но тот оказался еще быстрее: Мономах его не нагнал.

На Немиге Всеслав потерпел поражение, и это поражение было действительно ужасным: „И совокупиша обоя на Немизе, месяца марта в 3 день; и бяше снег велик, и поидаша противу собе. И бысть сеча зла, и мнози падоша, и одолеша Изяслав, Святослав, Всеволод, Всеслав же бежа“.

Весь дальнейший текст „Слова“ о Всеславе представляет собою размышление о его злосчастной судьбе. Всеслав изображен здесь и с осуждением, и с теплотой лирического чувства: неприкаянный князь, мечущийся как затравленный зверь, хитрый, „вещий“, но несчастный неудачник: перед нами исключительно яркий образ князя-вотчинника, князя — периода феодальной раздробленности Руси.

„Всеслав князь людемъ судяше, княземъ грады рядяше [т. е. властвовал над судьбой других людей, — даже князей], а самъ въ ночь влькомъ рыскаше [не зная пристанища; как в 1068 г., когда он ночью бежал из Белгорода]: изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя, великому Хръсови влькомъ путь прерыскаше. Тому [т. е. для Всеслава] въ Полотьскъ позвониша заутреннюю рано у святыя Софии въ колоколы, а онъ въ Кыевѣ [в заключении] звонъ слыша [принужден был слышать]. Аще и вѣща душа въ дръзѣ тѣлѣ [хоть и „вещая“ — колдовская душа была у него в храбром теле], нѣ часто бѣды страдаше. Тому вѣщей Боянъ и прѣвое припѣвку, смысленый, рече: «Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божия не минути»“.

Во всей этой характеристике Всеслава только одна деталь заставляет искать какого-то иного источника, кроме „Повести временных лет“: это упоминание о пребывании Всеслава в Тмуторокани. „Повесть временных лет“ молчит об этом, но об этом могло быть как раз в песнях Бояна, воспевшего ряд тмутороканских князей: Мстислава Владимировича, Романа Святославича — сына Святослава Ярославича Тмутороканского.

Однако хотя в своей фактической основе сведения о Всеславе в целом совпадают с „Повестью временных лет“, но общий, я бы сказал нравственный, смысл характеристики этого беспокойного князя в „Повести временных лет“ отсутствует в „Слове“. Религиозное объяснение освобождения Всеслава из „поруба“ заменено в „Слове“ другим, в котором Всеславу приписана активная роль.

¹ В. В. Мавродин. Очерки истории Левобережной Украины. Л., 1940, стр. 167.

Откуда все это взялось в „Слове“? Можно думать, что характеристика Всеслава и всей его деятельности подсказана автору „Слова“ Бояном: она совпадает в своей общей оценке с той „припевкой“, которую сказал Боян о Всеславе и которая тут же приведена в „Слове“, как заключительная сентенция: „Тому въщей Боянъ и пръвое прѣвѣку, смысленый, рече: «Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божиа не минути»“.

Итак Всеслав — зачинатель усобиц ярославичей и полоцких князей (согласно с летописью именно по поводу Всеслава летописец помещает под 1068 г. большое нравоучение об усобицах), он склонен на кровопролитие, это князь кудесник (согласно с летописью — „носит язвено“, „родился от волхования“, гиперболически быстро передвигается), он неудачник (постоянно спасается бегством, однажды бежит ночью).

Вся эта характеристика Всеслава согласна в „Слове о полку Игореве“ с „Повестью временных лет“.

Остается только один вопрос, что означает в „Слове“ упоминание того, что этот князь кудесник, князь неудачник, действует „на седьмом веце Трояни“?

Еще раз „века Трояна“ упоминаются в „Слове“ в контексте своеобразной периодизации русской истории, даваемой автором „Слова“. Эта периодизация представляет собою только плод поэтического обобщения автора „Слова“, в ней нет четких и логических и хронологических рубежей, больше того — она брошена автором „Слова“ весьма возможно случайно, попутно, и оставлена им во всей ее поэтической незавершенности. Однако она отражает непосредственные и живые впечатления автора от русской истории. Ее ценность может быть как раз и состоит в той непосредственности и случайности, с которой она высказана. „Были вѣчи Трояни, минула лѣта Ярославля; были пльщи Олговы, Ольга Свѧтъславичѧ“ — этою фразою начинаются в „Слове“ размышления по поводу прошлого Руси, навеянные поражением Игоря. Поражение Игоря осмысливается автором „Слова“ в исторической перспективе, — как непосредственное продолжение и следствие времени „полков“ (междоусобных походов) Олега Свѧтъславича, которым предшествовали два других периода „вѣчи Трояни“ и „лета Ярославля“.

Под „летами Ярославлими“, без сомнения, автор „Слова“ имеет в виду годы княжения Ярослава Мудрого, а может быть также и годы княжения его сыновей „ярославичей“. Во всяком случае, в конце „Слова“ автор называет Бояна (а может быть и некоего „Ходына“) песнотворцем „старого времени Ярославля“ и „хотью“ (любимцем) Олега Свѧтъславича, по всем же другим признакам Боян жил во времена сыновей и внуков Ярослава Мудрого. Следовательно „время Ярослава“ захватывало и годы княжения его непосредственных потомков — продолжателей его дела.

Что же за период следует видеть в определении автора „Слова“ „вѣчи (т. е. века) Трояни“ и кто-такой этот Троян, чьим именем определяются какие-то века русской истории, предшествующие векам Ярослава Мудрого? Предположений о том, кто такой этот Троян, было в исследовательской литературе немало. Исследователи исходили при этом главным образом из попыток разгадать происхождение этого слова этимологически, и этим путем объясняли два-три места в „Слове“, оставляя без удовлетворительного объяснения остальные. Между тем, чтобы разгадать, что такое этот „Троян“ „Слова“, необходимо учсть

все те оттенки значения, какие имеет слово „Троян“ во всех случаях его употребления в „Слове“.

Слово „Троян“ употреблено в „Слове о полку Игореве“ четыре раза: первый раз там, где говорится о поэтическом вдохновении Бояна („рища въ тропу Трояню“ наряду с „ската, славию, по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, свивая славы оба пола сего времени“), второй раз (в разбираемом нами случае) для обозначения целого периода русской истории, предшествовавшего годам Ярослава („были вѣчи Трояни“), третий раз для обозначения всей Русской земли в целом [„въстала обида въ силахъ Даждьбожа внука (в русских войсках. — Д. Л.), вступила дѣвою на землю Трояню“], четвертый раз опять-таки для обозначения какого-то периода времени, когда действовал князь-кудесник Всеслав „на седьмомъ (повидимому, на последнем. — Д. Л.) вѣцѣ Трояни“. Во всех этих значениях слово Троян может быть удовлетворительно объяснено только в том случае, если мы допустим, что под Трояном следует разуметь какое-то русское языческое божество.

Троян, как древне-русский бог, в памятниках письменности XII в. зарегистрирован в „Хождении Богородицы по мукам“ в списке XII в., изд. И. И. Срезневского: „Трояна, Хърса, Велеса, Перуна на богы обратиша“ или „И да быша разумели многии человеки, и в прельсть велику не внидуть, мняще богы многы: Перуна, и Хорса, Дыя и Трояна“.¹

В самом деле, что означает в свете этого понимания Трояна выражение „Слова“ „рища въ тропу Троянию“. Вряд ли эту „тропу“ следует искать где-то конкретно: в каких-то конкретных, географически точно определимых тропах, дорогах, валах или памятниках зодчества. Поэтическая манера Бояна последовательно описана в „Слове“ абстрактными, отвлеченными чертами: Боян скачет по воображаемому дереву, летает умом под облаками (следовательно не по реальным облакам), он растекается мыслию по дереву (следовательно опять-таки по воображаемому дереву), серым волком по земле, сизым орлом под облаками. Он рыщет, следовательно, не по каким-то конкретным путям, а по путям божественным: ведь Боян внук бога Велеса, и не потому только, очевидно, что Велес „покровитель поэзии“, а потому, что сам Боян „вещий“, т. е. кудесник, имеет отношение к богам.

Так же точно Русская земля могла быть названа землей Трояна только в том случае, если Троян был русским божеством. Именно в этом же смысле русский народ называется в „Слове“ „Даждьбожиим внуком“.

Вот почему и несколько веков русской истории, предшествовавших времени Ярослава, веков языческих, дохристианских, названы веками Трояна — веками языческой Руси, а годы Всеслава Полоцкого — последнего „вещего“ князя, князя-оборотня названы „седьмым (т. е. последним) веком Трояна“. Князь кудесник и неудачник действует на последок языческих времен, когда сила язычества иссякла. Он представитель доживающего язычества (значение „седьмого“, как последнего, определяется средневековыми представлениями о числе семь: семь дней творения, семь тысяч лет существования мира, семь дней недели, семь человеческих возрастов и т. д.).

Итак, расшифровать поэтическую периодизацию русской истории в „Слове“ („были вѣчи Трояни, минула лѣта Ярославля, были пльци

¹ Летопись русской литературы, кн. V, вып. 2, стр. 5.

Олговы“) следует так: были языческие времена, времена бога Трояна, затем наступило ярославово время (годы княжения Ярослава Мудрого и, возможно, его наследников „ярославичей“), наконец, настали междусобия Олега Святославича. Это периодизация не логическая, а поэтическая. Перед нами не четко отграниченные хронологические пределы, а поэтические образы целых периодов. Времена Трояна вторгаются в годы ярославовы: Всеслав Полоцкий действует на последок языческих времен, следовательно это даже не периоды, это обобщение крупных исторических явлений — древне-русского язычества, единства Руси в христианской державе Ярослава и княжеских усобиц, — но мыслимых в хронологической последовательности. Вот почему не нашлось в этой поэтической периодизации места и для княжения Владимира „старого“, принадлежащего двум периодам дохристианскому и христианскому.

Почему же, однако, по представлениям автора „Слова“, Всеслав Полоцкий действует „на последок языческих времен“? Какая связь между Всеславом и древне-русским язычеством?

Здесь дело, конечно, не только в том, что Всеслав Полоцкий, согласно летописи, родился „от волхвования“, всю жизнь носил на главе „язвено“ и, согласно „Слову“, рыскал волком, — иными словами был причастен чародейству (С. М. Соловьев назвал его „князем-чародеем“). Одной личной причастности чародейству было бы, пожалуй, недостаточно, чтобы утверждать историческую связь Всеслава Полоцкого с эпохой язычества.

Дело в ином: Всеслав Полоцкий действует в обстановке поднявшихся восстаний смердов — в Киеве, в Новгороде, на Белоозере, — восстаний, сомкнувшихся с движением волхвов, с реакцией древне-русского язычества. Всеслав воспользовался этими восстаниями и этой реакцией язычества в своих целях. Восстания не были крестьянскими движениями в чистом виде. Это были столкновения двух укладов — дофеодального, пронизанного переживаниями родового строя, тесно сросшегося с древне-русским язычеством, и феодального.

Всеслав действовал „на последок языческих времен“, в обстановке реакции древне-русского язычества и старого дофеодального уклада. Определение автора „Слова“ поражает нас своею историческою точностью.

Связь Всеслава Полоцкого с движением смердов и с реакцией язычества выявлена в работе Н. Н. Воронина „Восстание смердов в XI в.“.¹

Напомним те из наблюдений этой работы, которые кажутся нам убедительными.

Полоцкая земля, по сравнению с Киевом, была более отсталой в отношении своего исторического развития с более прочным язычеством. Полоцкие князья („Рогволожи внуки“) принадлежали к местной знати и дорожили своими местными связями.² Сам Всеслав никогда не пытался противопоставить себя вечно и в этом „преимущественно, кажется, и состояла особенная сила Всеслава, несмотря на многие неудачи и несчастья“.³

¹ Исторический журнал, № 2, 1940.

² В. Данилевич. Очерк истории Полоцкой земли до конца XIV ст. Киевск. унив. изв., 1896, т. 61, стр. 65, 80; Д. С. Леонардов. Князь Всеслав Полоцкий и его время. Полоцко-Витебск. стар. Витебск, вып. 3, 1913, стр. 127—133; Пассек. Княжеская и докняжеская Русь, ЧОИДР, 1870, III, стр. 47—48.

³ И. Д. Беляев. Рассказы из Русской истории. М., 1872, кн. IV. История Полотска, стр. 315—316.

Его борьба против Новгорода имеет антицерковный характер. Он грабит в Новгороде Софию и опирается в борьбе против Новгорода на население его периферии — „вожан“.¹

Восстание киевлян 1068 г., благодаря которому Всеслав захватил в Киеве власть, также было отчасти связано с движением смердов² и активизацией язычества.

Еще А. А. Шахматов обратил внимание³ на то, что первый из собранных под 1071 г. рассказов о волхвах на самом деле относится к 1068 г. или к какому-то из лет перед тем (к 1064 г.). Волхв угрожал „преступанием земель“. Об этом самом „преступании земель“ говорило посольство киевского веча к Святославу и Всеволоду: „мы же зло створили есмы, князя своего прогнавше, и се ведеть на ны землю Лядскую, а поидете в град отца своего. Аще ли не хочета, то нам неволя зажегши город свой и ступити в Гречискую землю“.

Итак, Всеслав в самом деле действует „на последок языческих времен“. Здесь, как и во многих других местах, „Слово“ поражает точностью своих исторических упоминаний.

Если характеристика Всеслава дана в „Слове“ в свете несчастной судьбы его и его потомства „всеславичей“ („уже понизите стязи свои“, т. е. признайте себя побежденными в междоусобных битвах; „вонзите свои мечи вережени“) и смягчена поэтому чувством жалости, то характеристика другого князя-крамольника — Олега „Гориславича“ дана по преимуществу в освещении последствия его усобиц для всего русского народа и поэтому вызывает меньше авторского сочувствия. Характеризуется даже не он сам, как личность, а его деятельность и последствия его деятельности. Его „усобицы“ рассматриваются как целая эпоха в жизни русского народа: „Были въчи Трояни, минула лѣта Ярославля; были плѣци Олговы, Ольга Свѧтъславличъ“.

Олега автор „Слова о полку Игореве“ вспоминает, однако, не только потому, что он был родоначальником черниговских ольговичей. Именно он, Олег, положил начало сложному узлу усобиц, связанных с вотчинным правом древней Руси.

Вместе с тем, половецкие симпатии Олега положили начало специфической половецкой политике Ольговичей.⁴

Вся характеристика разрушительной деятельности Олега построена на противопоставлении ее созидальному труду земледельцев и ремесленников. Этот мотив присутствует и в характеристике Всеслава Полоцкого: там описание битвы на Немиге все основано на противопоставлении ее жатве: „На Немизѣ снопы стелютъ головами, молотять чепи харалужными, на тоцѣ животъ кладутъ, вѣютъ душу отъ тѣла“. Тот же самый образ созидающего труда, противопоставленного бесмысленности и пагубности усобиц, доминирует и в характеристике Олега: „Олегъ мечемъ крамолу коваше и стрѣлы по земли съяше“, „тогда при Олзѣ Гориславичи съяшется и растишеть усобицами, погибашеть жизнь Даждьбожа внука“; и, наконец, — поразительный по своей художественной выразительности образ: „Тогда (т. е. при Олеге „Гориславиче“) по Руской земли рѣтко ратаевъ кикахуть, иль часто врани граяхуть, трупиа себѣ дѣляче...“ Именно этот образ

¹ А. А. Шахматов. Рассказы..., стр. 628.

² Б. Д. Греков. Киевская Русь, М.—Л., 1944, стр. 289.

³ А. А. Шахматов. Рассказы..., стр. 457.

⁴ В. В. Мавродин. Очерки истории левобережной Украины. Л., 1940, стр. 192.

мирно пашущего пахаря, заботе о котором должны быть посвящены усилия князей, ради которого они должны сражаться с половцами, применен в „Повести временных лет“ для аналогичного упрека корыстолюбивым князьям и при этом в аналогичной исторической обстановке. „Оже то начнеть орати смерд, — говорил главный противник Олега Владимир Мономах в 1103 г., призывая к объединенному походу на половцев, — и приехав половчин ударить ѹ (его) стрелою, а лошадь его поиметь, а в село его ехав иметь жену его, и дети его, и все его именье“.

Автор „Слова о полку Игореве“ считал дело Мономаха неудавшимся по вине Олега, он и отметил это, избрав для этого образ, примененный самим Мономахом, чем указал на то, что надежды Мономаха оберечь мирный труд ратая не сбылись.

Главным объектом для показа безрассудной деятельности Олега сделана битва на Нежатиной Ниве 1078 г. Эта битва сопоставлена с битвой Игоря („съ тоя же Каялы...“). Автор говорит о жертвах этой битвы: Борисе Вячеславиче и Изяславе Ярославиче. Впечатление от смерти этих князей усилено погребальными образами: Борису Вячеславичу „слава... зелену паполому (т. е. зеленое погребальное покрывало — траву) постла за обиду Олгову, храбра и млада князя“, Изяслава же Ярославича его сын Святополк приказывает отвезти к Софии киевской „междю угорьскими иноходьци“.

Малозначительный князь Борис Вячеславич упомянут не потому, что он „защищал черниговские интересы“, как думает А. В. Соловьев,¹ а потому, что гибель его в битве на Нежатиной Ниве, наряду со смертью его противника Изяслава, ярко иллюстрировала мысль автора о бессмыслиности междоусобных столкновений: обе стороны понесли жертвы в битве на Нежатиной Ниве; об обеих этих жертвах автор „Слова“ говорит с одинаковым сожалением, не отдавая предпочтения ни черниговской, ни киевской стороне.

Здесь выражена та же мысль, о которой мы уже говорили выше — там, где разбирали рассказ „Слова“ о борьбе ярославичей и всеславичей: в междоусобных битвах всегда терпят поражение обе стороны.

Наконец, нельзя не остановиться на одном месте „Слова“: „Се бо готские красные девы, въспеша на брезе синему морю, звоня русскимъ златом; поют время Бусово, лелеют месть Шароканию“. На это место обратил внимание и К. Маркс: „Замечательно одно место в стихотворении: «Voilà les jolies filles des Gots entonnent leurs chants au bord de la Mer Noire»“.²

В самом деле, почему готские девы „звонят русским золотом“ и почему радуются они победе половцев? Объяснение этому дано В. В. Мавродиным:³ „Очевидно, что золотые вещи и украшения, награбленные у разбитых русских дружинников могли попасть к готским девам только в том случае, если бы их продали половцы, а следовательно речь идет, несомненно, о тех готах, которые жили где-то рядом с половцами или даже под их властью. Такими могли быть только крымские готы, или готы-тетракситы, жившие в то время на Тамани и южнее ее по берегу Черного моря. Следовательно, готы-тетракситы жили и в Тмутаракани. По свидетельству Прокопия, в VI в. рядом с ним жили авасаги (абхазы, обезы), зикхи и сагины, а «к северу

¹ А. В. Соловьев. Политический кругозор автора „Слова о полку Игореве“. Историч. зап., № 25, М.—Л., 1948, стр. 75.

² Маркс и Энгельс. Соч., т. XXII, стр. 122.

³ Ук. соч., стр. 267.

живут бесчисленные народы антов». Здесь готы-тетракситы, или геты, вошли позже в состав Хазарского каганата, а после его разгрома Святославом оказались подданными тмутараканского князя. Кое-какие неясные сведения о них в IX—X вв. до нас дошли, но решительных выводов из них сделать невозможно. Георгий Пахимер упоминает об аланах, русских и готах, покоренных татарами и живущих в Тмутаракани-Матархе, усваивающих их обычай, нравы, одежду и язык.¹ В составе варварских князей Матархи XII—XIV вв., воевавших между собой, повидимому, были и остатки готов. Почему готовы праздновали победу половцев над русскими (а это является основной мыслью приведенного отрывка из „Слова о полку Игореве“)? Только потому, что к ним попали награбленные половцами русские драгоценности, которые им, конечно, достались не бесплатно, так как половцы ничем им не были обязаны и со своими вассалами, если речь идет о крымских готах, отнюдь не должны были делиться частью добычи? Нет, очевидно, поход Игоря Святославича угрожал не только половцам, но и готовам. Поход был предпринят не в Крым, а на Дон, Лукоморье, на Тмутаракань. Поэтому напрашивается вывод о готовах-тетракситах, столь радостно встретивших весть о Каяле.

Готские девы поют «время Бусово». В трактовке этого места нет единого мнения. В истории гото-славянских отношений был один исторический факт, связанный с именем Бос, Бус или Бооз. В 375 г. готский король Винитар разгромил антов и убил антского князя Бооза (Боса, Боуса, Буса) с сыновьями и еще 70 антских племенных князьев. Готам, в свою очередь, в скором времени был нанесен решительный удар гуннами и их союзниками — антами. Естественно, что граничившие с антами готы-тетракситы скорее всего могли сохранить воспоминания о временах столкновения с антами, об антах — врагах, о Бусе. Готы-тетракситы, неплохо знавшие и отдаленных предков русских — антов и собственно уже русских, в последних видели прямых потомков первых. Они сравнивают победу половцев над русскими князьями, когда они были взяты в плен половцами, с разгромом Винитаром антов, когда большинство антских князей, едва ли не все, было им схвачено и перебито, — устанавливая этим связь между двумя историческими моментами и двумя народами².

Мысль о мести за хана Шарукана могла еще жить в надеждах половцев в 1185 г. Это доказывается следующим местом Ипатьевской летописи под 1185 г. После поражения Игоря Святославича хан Кончак говорит хану Гзе: „Пойдем на Киевскую сторону, где суть избита братия наша и великий князь наш Боняк“. Месть за Боняка, о которой говорит Кончак, это и есть месть за Шарукана, так как Боняк и Шарукан потерпели поражение в одной и той же битве 1106 г.: „том же лете прииде Боняк и Шаруканъ старый и ини князи мнози, и сташа около Лубна. Святополк же и Володимер, и Олег, Святослав, Мъстислав, Вячъслав, Ярополк, идоша на половце к Лубну; в 6 час дне бродиша через Сулу и кликоша (Лавр. „кликуша“) на не. Половци же вжасоша от страха, не възмогоша и стяга поставить, но побегоша хватаючи конии, а друзии пеши побегоша; наши же начаша сеци я, а другыя руками имати. И гнаша я до Хорола; убиша же Тааза Бонякова брата, а угре яша и братию его (в Лавр. „а Сугра яша и брата его“), а Шаруканъ одва утече“ (Ипатьевск. лет. под 1106 г.).

¹ А. А. Васильев. Готы в Крыму, стр. 63—80, 1921.

Почему же, однако, готы, половцы (и их хан Кончак) лелеют мысль о мести именно за Шарукана? Ведь не один Шарукан терпел поражения от русских?

Месть за Шарукана, которую лелеют „на брезе синего моря“ готские красные девы, упомянута в „Слове“ отнюдь не случайно. Шарукан был дедом хана Кончака. Месть за деда, как и слава дедовская, была естественной в представлениях того времени. Шарукан потерпел жестокое поражение от Владимира Мономаха. Его сына Отрока Владимир Мономах загнал на Кавказ за Железные Ворота. Внук Шарукана и сын Отрока — хан Кончак — впервые смог отомстить за бесславие своего деда и своего отца.

Добиваясь мести за своего отца и деда, Кончак стремился действовать не против черниговских князей, а против Киева. После разгрома войск Игоря Святославича на Каяле, когда Гза (Кза) уговаривал Кончака ити на северские княжества (см. вышецитированное место Ипатьевской летописи), Кончак отказался, направляясь к Киеву и Переяславлю. Вот чем объясняется и выражение „Слова“ о том, что готские девы „лелеют месть Шаруканю“. Поражение Игоря еще не было местью за Шарукана. Это поражение только открывало ворота на Русскую землю, открывало возможность движению Кончака на Переяславль и Киев. Вот почему только после поражения Игоря хан начинает „лелеять“ месть за своего деда. Направление усилий Кончака именно против Переяславля и Киева неоднократно выражалось и в прошлом. В 1184 г. Кончак Отрокович делает попытку заключить союз с Ярославом Всеходовичем, чтобы ити на Киев. Этот союз не состоялся благодаря энергичному вмешательству Святослава.¹ Таково же направление его походов 1174 и 1179 гг.

Почему, однако, обращаясь к нерусской истории степных народов, автор „Слова“ представляет себе носителями ее исторической памяти „готских красных дев“ и почему изображает их поющими исторические песни на берегу синего моря?

Знал ли автор „Слова“, что именно так пелись исторические песни у восточных народов или он представил себе это по аналогии с русской действительностью? Вероятнее всего последнее. В заключительной части „Слова“ сказано — „дѣвици поуть на Дунаи, въются голоси чрезъ море до Киева“. Из контекста ясно, что „девицы“ поют славу Игорю. В дальнейшем же мы увидим, что в „слáвах“, которые пелись князьям, запечатлевались и их исторические деяния. Возможно поэтому, что „готьскыя“ красные девы, поющие на берегу синего моря, созданы творческим воображением автора „Слова“ по аналогии с русскими „девицами“, поющими на берегу Дуная.

Несомненно, однако, что ни „время Бусово“, ни „месть Шароканя“ не взяты автором „Слова“ ни из русских летописей, ни из русских исторических песен. Повидимому, автор „Слова“ отразил здесь какие-то реальные половецкие героические воспоминания о некоем антском князе Бусе² (девы готские „поют“, т. е. воспеваю, его время) и их мечты о мести за поражения Шарукана от русских. Это знакомство русских с историческими воспоминаниями половцев подтверждается летописной статьей Галицкой летописи 1200 г., где говорится на основании этих половецких песен и о хане Отроке — сыне этого самого Шарукана, и о сыне Отрока — хане Кончаке — противнике Игоря.

¹ В. В. Мавродин, ук. соч., стр. 257.

² См. выше.

* * *

Итак, автор „Слова о полку Игореве“ в своих исторических сведениях пользуется разнообразными источниками: он пользуется „Повестью временных лет“, в редакции близкой новгородским летописям, он пользуется дошедшими до него песнями Бояна — певца второй половины XI в., „любимца“ Олега Святославича, воспевавшего в своих песнях и своих современников (Романа Святославича, умершего в 1078, Всеслава Полоцкого, умершего в 1101 гг.) и князей прошлого (Ярослава Мудрого и Мстислава Владимировича). Он пользуется, наконец, историческими воспоминаниями врагов Руси — половцев. Возможно, что автор „Слова“ привлекал и еще какие-то устные источники. Но в использовании всех этих источников автор „Слова“ проявил величайшую самостоятельность. В отличие от „Повести“, он не констатирует события, а осмыслияет их, размышляет над ними, оценивает их и дает характеристики князьям, исходя в них из своих политических и нравственных представлений. Он опускает религиозное осмысление событий (в объяснении смерти Бориса Вячеславича или освобождении из „поруба“ Всеслава Полоцкого). Он делает выводы из своих характеристик — бесплодности, направленных на междоусобную борьбу, усилий князей. События прошлого привлечены им для объяснения событий настоящего. Характеристика Олега дана им для характеристики современных ему „ольговичей“; характеристика Всеслава — для характеристики „всеславичей“. В этом сказались средневековые представления о родовой преемственности политики русских князей, а может быть и реальные стремления русских князей вести свою политику в пределах своей „родовой“ линии, наследовать „путь“ отцов и дедов.

Подытоживая характеристику обращения автора „Слова о полку Игореве“ к историческому прошлому Руси, отметим, прежде всего, следующее. Автор „Слова о полку Игореве“ не историк и не летописец, он не стремится хотя бы в какой-либо мере дать представление о русской истории в целом. Он предполагает знание русской истории в самом читателе. И, вместе с тем, его отношение к событиям своей современности в высшей степени историческое. События похода Игоря он воспринимает в глубокой исторической перспективе. Современная ему Русь не отделена от русской истории. Он не ищет причин усобиц в прошлом, но он воспринимает эти усобицы как непосредственное продолжение усобиц Всеслава и Олега. „Ольговичи“ для него прежде всего потомки Олега „Гориславича“. Всеслав Полоцкий для автора „Слова“ связан с предшествующим языческим временем; он — родоначальник современных автору беспокойных „всеславичей“, определивший их политику. Автор „Слова“ поэтически выделяет в русской истории наиболее лирические эпизоды и поэтически же обобщает целые исторические периоды. Он настолько трезвый и проникновенный художник, что ясно представляет даже то, чему он не был свидетелем и поэтому воображает, как восприняли современные ему события готы-тракситы. Хотя поэт и преобладает в авторе „Слова“ над историком, но его поэтическое миропонимание исторично. Его восприятие современных ему событий обрамлено историей нескольких столетий.

Отношение автора „Слова о полку Игореве“ к русской истории совпадает ли с отношением к ней в фольклоре? Ответу на этот вопрос мешает неопределенность самого термина „фольклор“ для XI—XII вв., но если принять за некую условную „мерку“ фольклора упоминаемого в „Слове“ „песнотворца“ Бояна, то мы легко убедимся в том, что

автор „Слова“ стоит значительно выше Бояна в понимании исторического смысла событий русской истории.

Боян принадлежит к числу тех „витий“-песнотворцев, о которых говорит в своем „Слове на собор святых отец“ Кирилл Туровский. Боян „воспевает“ князей, он сочиняет им „славы“ — „старому Ярославу, храброму Мстиславу... красному Романви Святыславичю“. Струны его „сами [собой] княземъ славу рокотаху“. В воспроизведении автора „Слова“ эти песни поражают своею бравурностью: „Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая — галици стады бѣжать к Дону великому“; „Комони ржуть за Сулою — звенить слава в Кыевѣ; трубы трубять в Новѣградѣ — стоять стязи в Путивль!“

Очевидно, Боян и не был подлинно народным поэтом. Это был поэт придворный.¹ В отличие от Бояна автор „Слова“ не только воздает хвалы князьям. Он взвешивает и расценивает их деятельность не с точки зрения их личных качеств (удаль, храбрость и т. д.), а с точки зрения оценки всей их деятельности для общенародного блага.

Замечательно, что, в отличие от слишком прямолинейного деления летописцем деятелей русской истории на добрых и злых, автор „Слова“ воспринимает их с гораздо большею сложностью: он не только осуждает Всеслава Полоцкого, но он и грустит по поводу его судьбы. Таково же отношение автора и к своим современникам — к Игорю Святославичу. Было ли отношение автора „Слова“ к своим героям таким же, как и в „фольклоре“, сказать трудно. Во всяком случае оно выше того отношения, которое представлено и Бояном, и летописью. Но вот, что в авторе „Слова“ во всяком случае было выше, чем в историческом эпосе его времени: для него русская история обладает периодами, он сознательно делит ее на эпохи, перед ним ясная историческая перспектива. Его исторические представления об усobiцах не могли сложиться на основе фольклора. Фольклор, исторический эпос, игнорирует усobiцы. Эпос рисует героические картины борьбы с внешними врагами Руси: так он отразился и в „Повести временных лет“, так он дошел до нас и в современных былинах. Но ни тут, ни там нет изображения усobiц: в „Повести“ усobiцы никогда не описываются на основе фольклорных данных; в современном же эпосе полоса усobiц не отразилась. Эта особенность русского эпоса была четко отмечена Н. Г. Чернышевским: „...сознание национального единства всегда имело решительный перевес над провинциальными стремлениями, если только были со временем Ярослава какие-нибудь провинциальные стремления... распадение Руси на уделы было чисто следствием деляжа между князьями... но не следствием стремления самого русского народа. Удельная разрозненность не оставила никаких следов в понятиях народа, потому что никогда не имела корней в его сердце: народ только подчинялся семейным расположениям князей“.²

Какой художественный и идейный смысл имеют в „Слове“ упоминания событий прошлого?

Рассматривая каждое явление современности в исторической перспективе, автор „Слова“ тем самым обобщает его. Историзм — это одна из форм художественного обобщения в древней русской литературе.

¹ См. об этом: И. У. Будовниц. Идейное содержание „Слова о полку Игореве“. Известия АН СССР. Серия истории и философии, 1950, № 2, стр. 154—156.

² Н. Г. Чернышевский. Рецензия на книгу „Областные учреждения России в XVII в.“ Соч. Б. Чичерина, М., 1856“, Полн. собр. соч., т. 3, М., 1947, стр. 570.

Каждое отдельное явление действительности представляет собою для автора „Слова“ часть исторической действительности. Перед нами „обобщение жизни в отдельном ее явлении“, но обобщение типичное для XII в., а не для XX в.

Автора „Слова“ интересует то, что выходит за пределы того или иного конкретного жизненного факта. Изображенные в „Слове“ события перерастают те непосредственные факты, которые ему приходилось наблюдать эмпирически.

Упоминаемые автором „Слова“ события русской истории все полны ассоциаций с событиями, современными автору. Их автор вспоминает не случайно. Они составляют ту историческую атмосферу, в которой действуют современные автору князья, в которой рождаются энергичные сопоставления прошлого с настоящим, сильные исторические образы автора, которые сгущают атмосферу историчности, так сильно ощущаемую в „Слове“.

В первые годы открытия и изучения „Слова“ весь этот смысл исторических упоминаний „Слова“ был неясен; только теперь, когда историческое прошлое получает все более и более правильное освещение, становятся понятными не только отдельные упоминания „Слова“, но даже отдельные выражения. Каждое слово в „Слове о полку Игореве“ весомо, полнозначно, полно исторического смысла, каждое его упоминание, каждый факт приведен не в поэтической беспорядочности, а со строгим выбором и с предельной лаконичностью. Исторический комментарий к „Слову“, раскрытие его исторических параллелей, сопоставлений, исторического значения тех или иных выражений и мыслей автора „Слова“, открывает в „Слове“ все большие и большие примеры поэтической точности и исторической содержательности. Точность его исторических и политических указаний — это одна из важных особенностей поэтики „Слова“. Автор „Слова“, воссоздавая прошлое или обращаясь к настоящему, не домысливает его, а воспроизводит путем отбора реальных деталей. Его поэтическое воображение всегда имеет реальную основу, опирается на конкретные детали. Он может гиперболизировать ту или иную черту в своем герое, но не придумать ее. Поэтическое „видение“ его исторично. Его историзм не только в том, чтобы точно уловить исторический смысл событий и историческую перспективу, в которой они родились, но и в том, чтобы точно воспроизвести события в отобранных деталях. За его намеками и недомолвками по большей части кроются факты. Поэтому „Слово“ представляет драгоценный материал как исторический источник, но еще больший материал дает „Слово“ для изучения исторического мышления своей эпохи, как памятник истории общественной мысли, так как ни одна деталь в „Слове“ не оставлена без осмыслиния.

В своей работе обобщения автор „Слова“ не создает новых фактов, не измышляет их себе — он лишь отбирает такие жизненные факты, по которым лучше всего можно судить об исторических явлениях в целом.

Автор „Слова“ не прибегает к вымыслу, как к сознательному приему творчества. Вымысел проникает в его творчество, но помимо его воли: из народных сказаний и верований. В этом отношении его творчество идет по тем же путям, по которым оно идет у всякого древне-русского книжника. Его воображению рисуется то, что могло бы случиться в жизни. Он трезво оценивает действительность и поэтому борется только за то, что могло быть осуществлено в современных ему условиях; не требуя ничего несбыточного, он лишь торопит действительность по тем путям, по которым она уже шла.

Выше мы видели разнообразные исторические источники, которыми пользовался автор „Слова о полку Игореве“ в своем творческом осмыслении событий прошлого. Нам предстоит рассмотреть наиболее сложный вопрос исторического мировоззрения автора „Слова“: оценку им событий ему современных. Здесь также были своеобразные „источники“. Автор „Слова“ не мог быть очевидцем всех описанных им фактов своей современности, и нам предстоит рассмотреть, в какой передаче мог он познакомиться с этими фактами.

Феодализм выработал своеобразный кодекс морали — понятия о дружинной и княжеской чести и славе. Война и отчасти охота служили той ареной, на которой происходило „искание славы и чести“. „Показать мужество“ свое и тем добить себе „славы“, „чести“, „хвали“ было основной заботой князя и его дружины. Не уронить свою „честь“, не упустить своего, не уронить „отней“ и „дедней“ славы, не потерять свою отчину и дедину, ревниво оберечь свою дружинную репутацию — все это заслоняло перед князьями в XII—XIII вв. большие государственные темы. Под влиянием этих забот выработался кодекс дружинной морали, дружинных правил поведения, перед которыми нередко тема Родины отступала на задний план. Этот кодекс норм дружинного поведения выработал в эпоху феодализма свою терминологию. „Взять свою честь и славу“ (ср. „И ту нощь стоявше князи поидаша разно... победивше сильнии полки и вземше свою честь и славу“, Новг. IV лет. 1216, стр. 196; „а возмем до конца свою славу и честь“, Лавр. 1186, стр. 398); „не погубить честь“ („не погубим чести князя своего“, Ипат. 1231, стр. 510); „возложить честь“ („Глеб же слышав рад бысть, аже на него честь воскладывають“, Ипат. 1175, стр. 404); „положить честь“ („той же прия с любовью и положи на немъ честь велику“, Ипат. 1183, стр. 428); „честить“ („яко же и брат твой Изяслав честил Вячеслава“, Ипат. 1149, стр. 324); „показать мужество свое“ („Данил... млад сы показа мужество свое“ Ипат. 1213, стр. 491); „яко от бога мужество ему показавшу“, 1257, стр. 554; „он же (Роман Брянский. — Д. Л.) бися с ними и победи я, сам же ранен бысть и не мало бо показа мужество свое“, Ипат. 1264, стр. 589; „створить похвалу“ („Мъстислав же великую похвалу створи Данилови, и дары ему дастъ велики и конь свой борзый сивый“, Ипат. 1213, стр. 491); „дать похвалу“ („и мужи отни похвалу ему даша великую зане мужьски створи“, Лавр. 1149, стр. 325), а, с другой стороны: „погубить честь“ („Василкови же молвящу ему: «Не погубимъ чести князя своего, яко рать си не можетъ града сего прияти»; — бе бо муж крепок и храбор“, Ипат. 1231, стр. 510); „добыть сорома“ („поеди, княже, прочь; аже ли добудем сорома?“, Ипат. 1149, стр. 27); „взять сором“ („а Кондрат поеха восвояси, вземъ собе сором велик“, Ипат. 1287, стр. 599); „возложить сором“ и „сложить с себя сором“ („Болеслав же рече Володимерови: «Уведайся с нимъ, велик бо сором возложил на тя; а сложи с себя сором свой»“, Ипат. 1279, стр. 580); „мстить своего сорома“ („а яз пойду в половци, мъстив сорома своего“, Ипат. 1213, стр. 491; ср. также: „приими всю власть его за сором свой“, Ипат. 1225, стр. 498), и т. д., и т. п.

Можно смело сказать, что вся деятельность русских князей и русских воинов проходила в обстановке общественных и исторических откликов на нее современников и потомков. Князья постоянно считаются с тем, как на их деятельность взглянут современники и потомки, как будут оценены их поступки. Князья стремятся „поревновать“ своим отцам и дедам, „добрые славы добыти“, ищут себе „чести и славы“.

Существенное значение при этом имеют самые представления о том, что считалось достойным этой „чести“ и „славы“. Ищут „славы“ и достойны ее в глазах современников по преимуществу ратники, воины. „Славы“ не ищут и не получают ее лица духовные, представители церкви, но, наряду с князьями, ее могут получить и рядовые ратники. Так, например, при осаде Судомира татарами волынский летописец отмечает подвиг простого воина („не боярин, ни доброго рода, но прост сый человек“) и его подвиг называет достойным памяти: „створи дело памяти достойно“ (Ипатьевск. лет. под 1261 г.). Под 1282 г. в той же Волынской летописи отмечен подвиг сына боярского Раха, и снова говорится: „створиста дело достойно памяти“ (Ипатьевск. лет. под 1282 г.).

О смерти этого Раха и некоего прусина летописец замечает: „сии же умрости мужественем сердцем, оставлеши по себе славу последнему веку“ (там же).

Летопись до краев наполнена звоном военной славы. Важно при этом отметить, что „ареал“ этой славы не мыслился замкнутым пределами только Русской земли. Слава князя очень часто воспринимается не как его личная слава, но также как и слава всей Русской земли в целом. Об этой всесветной славе говорят под разными годами летописцы. Под 1111 г. в Ипатьевской летописи говорится в следующих выражениях о возвращении Владимира Мономаха из победоносного похода на Дон: „възвратиша Русьстии князи в свояси с славою великою к своим людем и ко всим странам далним, рекуще к греком и угром, и ляхом, и чехом, дондеже и до Рима проиде на славу богу, всегда и ныня и присно во веки, аминь“.

Эта же всесветная слава Мономаха вспоминается и в его некрологической характеристике, помещенной в Лаврентьевской летописи под 1125 г. Умер Мономах, — говорится там, „прославив в победах, его имене трепетаху вся страны и по всем землям изиде слух его“. О той же мировой славе русских князей говорится и в „Слове“ Илариона, и в „Слове о погибели Русской земли“, и в „Повести о разорении Рязани Батыем“ — в Похвале роду рязанских князей, и в „Молении“ Даниила Заточника, и в житии Довмонта Тимофея, и в житии Александра Невского: „и оттоле прослыся имя святаго во всех странах латынских и до моря Хупужского и гор Ааратских, и обону страну моря Варяжского, и даж и до самаго того Великаго Рима“.¹

Нельзя думать, что перед нами бессознательный трафарет исторической литературы. Об этой всесветной русской чести и славе говорят князья дружине и князья между собой. Это понятие было не только в литературе — оно было в самой жизни и именно из жизни, из действительности проникло и в летопись, и в литературные произведения. В 1152 г. Изяслав Мстиславич говорил своей дружине: „Братья и дружино! Бог всегда Руски земле и руских сынов в безчестии не положил есть; на всех местах честь свою взимали суть. Ныне же, братье, ревнуимы тому еси, у сих землях и перед чужими языками дай ны бог честь свою взяти“ (Ипатьевск. лет.). Под 1170 г. Мстиславу Изяславичу говорили его братья: „тако буди, то есть нам на честь и всее Руской земли“. Эти слова не придуманы летописцем. Летописцы относительно точно передавали в своих летописях действительно произнесенные речи. Следовательно в самой жизни было отчетливое представление о славе и чести Русской земли среди других стран мира.

¹ В. Мансикка. Житие Александра Невского. СПб., 1913, стр. 42.

Молва о подвигах, „слава“, как „известность“, облекались в древней Руси во вполне конкретную форму — „славы“ — хвалебной песни. В пении „славы“ выражалось общественное признание. Вот почему киевляне, освободив Всеслава Полоцкого в 1068 г. из поруба и провозгласив его князем, привели на княжеский двор и „прославиша“ (Лаврентьевск. лет.). В этом пении „славы“ выражалось признание его заслуг, может быть тем более необходимое, что Всеслав был освобожден из заключения и нуждался в гласной реабилитации. „Славу“ поют князьям и по возвращении из победоносных походов. Тогда народ выходил навстречу князьям и пел славу им перед воротами города.

Дружинные представления о чести и славе отчетливо дают себя чувствовать в „Слове о полку Игореве“. „Слово“ буквально напоено этими понятиями.

Все русские князья, русские воины, города и княжества выступают в „Слове“ в ореоле „славы“ или „хулы“. В ореоле славы „сведомых къметей“ выступают куряне; их главная забота искать „себе чти, а князю славѣ“. В ореоле славы выступают черниговцы: „тии бо бес щитовъ съ засапожники кликомъ плѣкы побѣждаетъ, звонячи въ прадѣднюю славу“. Автор „Слова“ передает о курянах, черниговцах и других не какой-либо конкретный факт, а как бы народную о них молву, народную „славу“.

Вот почему иногда автор „Слова“ лишь напоминает ту или иную характеристику в форме вопроса, как всем известную: „Не ваю ли вои злачеными шеломы по крови плаваша? Не ваю ли храбрая дружины рыкают акы тури ранены саблями калеными на полѣ незнаемѣ?“ — говорит автор „Слова“ о дружине Рюрика и Давыда Ростиславичей. Мы бы сказали теперь, что это вопрос „риторический“: он лишь напоминает о той славе, которой пользовалась дружина Рюрика и Давыда.

В аспекте народной молвы оценивается и поражение Игоря: „уже снесеся хула на хвалу...“

Давая характеристики русским князьям, автор „Слова“ вспоминает прежде всего о их славе. Перед нами в „Слове“ как бы проходит общественная молва о каждом из русских князей и о их дружинах.

Давая несколько гиперболические отзывы о русских князьях, автор „Слова“ делает это, как бы пересказывая молву о них: „Великий княже Всеволоде!... Ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти!“; „Галички Осмомыслъ Ярославе!... Грозы твоя по землямъ текутъ, отворяеши Киеву врата, стрѣляеши съ отня злата стола салтани за землями“; „Ярославли и вси внуце Всеславли! Уже понизите стязи свои, вонзите свои мечи вережени. Уже бо выскоисте изъ дѣдней славѣ“, и т. д.

В этих характеристиках русских князей отчетливо чувствуется и общерусская народная „слава“ (ср. „грозы твоя по землямъ текутъ“ или „уже бо выскоисте изъ дѣдней славѣ“).

Такой же „славой“ обладают и отдельные города (Новгород славен „славою Ярослава“) и земли (им передают свою славу местные дружины; например Курскому княжеству — „куряне“ — „свѣдоми къмети“; Черниговскому — „черниговьские были, съ могуты, и съ татраны, и съ шельбiry, и съ топчакы, и съ ревугы, и съ ольберы“, побеждающие кликом без щитов с одними засапожниками своих врагов, „звонячи въ прадѣднюю славу“, и т. д.).

Автор „Слова“ нередко оценивает события с точки зрения той „славы“, которая распространяется по Руси об этих событиях. Подобно тому, как летописец, на основании той же народной молвы, оценивает

исторические события с точки зрения их „небывалости“ (ср. в Ипатьевск. под 1094: „не бе сего слышано во днех первых в земле руской“; ср. в Лавр. под 1203 г.: „взят бысть Киев Рюриком и Ольговичи и всею Половецькою землею и створися велико зло в Русстей земли, якого же зла не было от крещенъя над Киевом. Напасти были и взятыи не якоже ныне зло се сстася“), — автор „Слова“ пишет о поражении Игоря: „То было въ ты рати и въ ты пльки, а сицей рати не слышано!“.

Поисками „славы“ отчасти объясняет автор „Слова“ и самый поход Игоря. Собираясь на половцев, Игорь и Есеволод сказали: „Мужаимъся сами: преднюю славу сами похитимъ, а заднюю си сами подѣлимъ“. В ночь перед битвой русичи Игоря перегородили своими черлеными щитами великие поля, „ищучи себѣ чти, а князю славы“. Именно так понимает побудительные причины к походу Игоря и Святослав Киевский: „Рано еста начала Половецкую землю мечи цвелити, а себѣ славы искати“. Поисками личной славы объясняют поход Игоря и Все-полода также и бояре Святослава Киевского: „се бо два сокола слѣтѣста съ отня стола злата поискати града Тьмутороканя, а любо испити шеломомъ Дону“.

Понятия чести и славы звучат в „Слове“ и тогда, когда они прямо не упоминаются. Игорь говорит дружине: „Луце жъ бы потяту быти, не же полонену быти“ или „хощу бо, — рече, — копие приломити конец поля Половецкаго; съ вами, русици, хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомъ Дону“. И здесь речь идет, следовательно, о добывании личной славы.

Неоднократно упоминается в „Слове“ и дедняя слава — слава родовая, княжеская: Изяслав Василькович „притрепа славу дѣду своему Всеславу“, Ярославичи и „все внуки Есеслава“ уже „выскочисте изъ дѣдней славѣ“; Всеслав Полоцкий расшиб славу Ярослава — славу новгородскую.

Наконец, в „Слове о полку Игореве“ неоднократно упоминается и о пении той самой „славы“ — хвалебной песни, в которой конкретизировалось понятие „славы“ абстрактной. Самый оборот, которым в „Слове“ говорится о песнях Бояна („Боян бо вѣщий, аще кому хотише пѣснь творити“), говорит о том, что песни эти были песнями хвалебными — „славами“ („они же сами княземъ славу рокотаху“), посвященными тому или иному герою и их подвигам („которыи дотечаше, та преди пѣснь пояше старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зарѣза Редедю предъ пѣлки касожьскими, красному Романови Святъславличю“).

„Славу“ поют окружающие Русь народы. Они поют ее не в гриднице Святослава, как ошибочно думали некоторые исследователи „Слова“, а в своих странах. Перед нами тот же образ всесветной славы русских князей, что и в „Слове“ Илариона, в „Молении“ Даниила Заточника, в Житиях Александра Невского и Довмонта Тимофея, в „Слове о погибели Русской земли“ и в „Похвале роду рязанских князей“: „ту нѣмци и венедици, ту греки и морава поютъ славу Святъславлю“. Здесь понятие „славы“ как „известности“ и „славы“ как „хвалебной песни“ поэтически слиты, но в „Слове“ имеются и упоминания пения „славы“, в реальности которых нет оснований сомневаться.

При возвращении Игоря из плена ему поют славу „девици“ „на Дунаи“. Сам автор „Слова“ заключает свое произведение традиционной славой князьям и дружине: „Пѣвше пѣснь старымъ княземъ, а по томъ молодымъ пѣти: «Слава Игорю Святъславличю, буй туру Все-

володу, Владимиру Игоревичу». Здрави князи и дружина, побарая за христьяны на поганыя пльки! Княземъ слава а дружинъ: Аминь».

Одним словом, автор „Слова о полку Игореве“ воспроизводит современные ему события, оценивает их и дает характеристики князьям — своим современникам — на основании народной „молвы“, „славы“, которая в XII в. имела свои особенности, связанные с идеологией классового феодального общества.

Только ли на основании „молвы“ и „славы“ были известны автору „Слова“ обстоятельства похода Игоря Святославича? Исследователи неоднократно отмечали близкое знакомство автора „Слова“ с походом Игоря и обстоятельствами его бегства. Автор „Слова“ как бы видит и слышит события, его зарисовки удивительно конкретны. Поэтому некоторые из исследователей (как, например, Н. В. Шарлемань), считали автора участником похода Игоря и предполагали даже, что он был с ним в плену, а другие (как, например, М. Д. Приселков) считали, что автор „Слова“ был близок к Игорю, слышал его рассказы и на основании их создал свое повествование. С уверенностью ответить на вопрос о причинах точной осведомленности автора об обстоятельствах и деталях похода Игоря вряд ли удастся. Мы хотим, однако, обратить внимание на другое: не было ли в распоряжении автора „Слова“ каких-то песенных источников о событиях ему современных? Наше предположение строится на следующем наблюдении. Между прозаическим рассказом Ипатьевской летописи о походе Игоря и поэтическим повествованием „Слова“, несмотря на все их жанровое отличие, наблюдается много общего в деталях. Детали эти, однако, таковы, что нельзя думать, будто в „Слове“ они заимствованы из летописи или в летописи они заимствованы из „Слова“. В основе обоих лежит, повидимому, общий источник. Общность этих деталей не может быть, однако, объяснена и одинаковой осведомленностью в событиях. Сходство лежит в интерпретации событий, причем в интерпретации явно поэтической. Эти элементы поэтической интерпретации событий похода Игоря присутствуют в прозаическом рассказе Ипатьевской летописи, будучи вкраплены в этот рассказ как инородные тела. И именно в этих поэтических элементах рассказа Ипатьевской летописи замечается близость к „Слову о полку Игореве“.

Перечислим вкратце те элементы поэтической интерпретации событий рассказа Ипатьевской летописи о походе Игоря, которые находят себе соответствие в „Слове о полку Игореве“.

И в летописи, и в „Слове“ отмечено слово, сказанное Святославом Всеволодовичем Киевским после известия о поражении Игоря. Содержание слова Святослава Киевского передано, в общем, сходно. И тут и там Святослав упрекает Игоря в безрассудстве юности. Очевидно, что „золотое слово“ Святослава не домысел летописца и не выдумка автора „Слова о полку Игореве“, а реальный факт. Характерно, однако, другое, — в чем нетрудно заметить общность интерпретации „золотого слова“ Святослава: и тут и там отмечены слезы, которые пролил Святослав, произнося свое „слово“. „Тогда великий Святъславъ изрони злато слово с слезами смѣшено“ („Слово о полку Игореве“) — в летописи же Святослав „вельми воздохнувъ, утеръ слезъ своихъ и рече...“

Но особенно ярко совпадение „Слова“ и Ипатьевской летописи в рассказе о разговоре между собой ханов Кончака и Гзы. Можно быть уверенным в том, что ни летописец, ни автор „Слова“ не были свидетелями этого разговора. Разговор Гзы и Кончака — чисто литературный (или фольклорный) прием оживления действия. Вряд ли лето-

писец или автор „Слова“ могли знать о каком-либо конкретном разговоре этих двух ханов. Для летописи такие измышления, „литературные“ разговоры, вводимые для оживления действия, — чрезвычайная редкость; они обычно переносятся летописцем из фольклора (ср. разговоры Ольги с послами древлян в „Повести временных лет“). Повидимому диалог Кончака и Кзы также взят в Ипатьевской летописи из фольклора; как и в „Слове“, оба хана спорят между собой: „и бысть у них кото́ра, молвяшеть бо Кончакъ: «Пойдем на Киевскую сторону, где суть избита братья наша, и великий князь наш Боняк»; а Кза молвяшеть: «Пойдем на Семь, где ся остале жены и дети, готов нам полон собран, емлем же города без опаса»; и тако разделиша надвое“. Не было ли одним из общих источников „Слова“ и летописи какое-то фольклорное произведение, где рассказывалось о Кзе и Кончаке и о их споре? Диалог Кзы с Кончаком не мог попасть в летопись из „Слова“, ни в „Слово“ из летописи: и тут и там они трактуют разные темы, спор идет о разном, но по характеру своему он очень близок и не имеет ближайших аналогий в киевской летописи XII в.: один как бы является продолжением другого.

Если, действительно, диалог Кзы и Кончака в летописи и в „Слове“ навеян каким-то фольклорным произведением, то это бы объяснило одну важную деталь в „Слове“. В „Слове“ говорится о мести за Шарукана. Откуда это стремление половцев отомстить за Шарукана стало известно автору „Слова“? А между тем об этой же мести за Шарукана говорит Кончак Кзе в летописи: „пойдем на Киевскую сторону, где суть избита братья наша, и великий князь наш Боняк“. Мы уже говорили выше (стр. 27), что поражение, о котором говорит здесь Кончак, имело место в 1106 г. В этом 1106 г. потерпел поражение не только Боняк, но и Шарукань, месть которого „лелеют“ красивые готские девы на берегу синего моря. В этих словах автора „Слова о полку Игореве“ прямое указание на фольклор: готские девы не только „лелеют“ месть за Шарукана, но и „поют“ время Бусово. Отражение половецких песен о Боняке — деде Кончака и о хане Отроке — отце Кончака отчетливо усматриваются в летописи под 1097 г.,¹ под 1151 г., под 1201 г. Нет ничего удивительного и в том, что особая половецкая песня была сложена и о их потомке — хане Кончаке, при этом тотчас же по совершении событий.

Нельзя не обратить внимания и на другие признаки близости рассказа летописи к рассказу „Слова“. И „Слово“ и летопись отмечают любовь Игоря к брату своему Всеволоду. И „Слово“ и летопись отмечают грусть и смятение в городах после поражения Игоря, дают сходные характеристики Всеволоду. Все эти совпадения отнюдь не случайны. Это совпадения в интерпретации событий, в выборе деталей. Любовь двух братьев не удивительна в жизни, но только один раз за весь киевский период она отмечена в летописи. Не удивительны и слезы сожаления, „оброненные“ старшим киевским князем вместе со словами сожаления по поводу поражения одного из младших киевских князей, но и здесь только один раз они отмечены в летописи за все это, отнюдь не сентиментальное, время.

Нет, однако, оснований видеть здесь какие-либо „заимствования“ или „влияния“ одного повествования на другое. Как мне кажется, здесь дело в другом: и летопись, и „Слово“ — оба зависят от „молвы“

¹ М. Д. Приселков. Летописание Западной Украины и Белоруссии. Уч. зап. ЛГУ. Сер. истор. наук, вып. 7, Л., 1941, стр. 10—11.

о событиях, от „славы“ о них. События „устроились“ в молве о них и через эту молву отразились и тут и там. В этой „молве“ отразились, возможно, и какие-то обрывки фольклора — половецкого или русского. Во всяком случае сама „молва“ была на грани фольклора, как на грани фольклора была и „слава“ князей.

Каково, однако, отношение самого автора „Слова“ к понятию „слава“, „честь“, к народной молве?

Отметим прежде всего, что автор „Слова“ отнюдь не чуждается этих понятий, они находят сочувствие в его суждениях. Автор „Слова“ постоянно апеллирует к „славе“ того или иного князя. Однако это сочувствие автора „Слова“ этим понятиям распространяется далеко не на все их стороны. В тех случаях, когда понятие „славы“ ограничено узкими рамками феодального отношения к ней, автор „Слова“ относится к ней резко отрицательно. Автор „Слова“ безусловно отрицательно оценивает все случаи поисков личной славы. Святослав Киевский, чье „золотое слово“ совпадает с мыслями самого автора „Слова“ до полной иногда неразличимости, упрекает Игоря и Всеволода именно за то, что они искали славы для себя. „Рано еста начала Половецкую землю мечи цвѣлити, а себѣ славы искати“. Эти поиски личной княжеской славы противоречат понятию „чести“ Святослава и автора „Слова“. Вслед за только-что приведенными словами Святослав говорит: „Нъ нечестно одолѣсте, нечестно бо кровь поганую пролиясте“. С точки зрения феодальной морали Игорь и Всеволод отнюдь не нарушили представления о „чести“ князей. „Честь“ свою они уронили в глазах Святослава и автора „Слова“ только потому, что в поисках личной славы они предали интересы Русской земли.

Осуждает автор „Слова“ и Бориса Вячеславича за поиски личной славы: „Бориса же Вячеславича слава на судъ приведе“. Это узкое феодальное „искание славы“ глубоко чуждо автору „Слова“. Однако во всех тех случаях, где речь идет о „славе“ в более широком значении, автор „Слова“ сочувственно говорит о ней. Понятия „чести“ и „славы“ перерастают в „Слове“ свою феодальную ограниченность. Для автора эти понятия, с их ярко выраженным сословным оттенком значения, приобретают значение национальное. Честь и слава родины, русского оружия, князя как представителя Русской земли, волнуют автора „Слова“ прежде всего.

Свое мнение автор „Слова“ не противопоставляет общественному мнению. Наоборот, он постоянно опирается на это общественное мнение. Но это общественное мнение для него выкристаллизовывается в его лучших представителях. Он выделяет в нем наиболее передовые идеи, вкладывает в узко феодальные понятия более широкое содержание. Он пользуется понятиями эпохи, но эти понятия видоизменяет, выделяя в них наиболее общее и прогрессивное содержание. Так, например, понятие „обиды“ узко феодальное, здесь, в „Слове“, выходит за рамки своей сословной ограниченности. После поражения Игоря „въстала обида въ силахъ Даждьбожа внука“. „Силы“ — войска (ср. „нача приступати Володимерко с силою своею“, Лаврентьевск. под 1149 г., стр. 327). Войска „Даждьбожа внука“ — это несомненно все русское войско. „Обида“ русского войска есть „обида“ всей Русской земли. Этот термин употреблен автором вне его обычной сословной, феодальной ограниченности.

Князь Святослав (или автор „Слова“) призывает Рюрика и Давида Ростиславичей вступить в золотой стремень, т. е. выступить в поход

„за обиду сего времени“ — не какого-либо из князей, а обиду общую, обиду этого (нашего) времени. Здесь также термин „обида“ выходит за рамки сословной, феодальной ограниченности.

Также точно не в обычном летописном, а в более широком значении, употребляет автор „Слова о полку Игореве“ и понятие „хвалы“: „уже снесеся хула на хвалу; уже тресну нужда на волю“ (стр. 69).

Наконец, самое важное из политических понятий XII в. — понятие Русской Земли не ограничивается для автора „Слова“ пределами киевского княжества, как это было типичным для политических представлений периода феодальной раздробленности.¹ Он включает сюда Владимиро-суздальское княжество и Владимиро-волынское, Новгород Великий и Тмутаракань. Последнее особенно интересно: автор „Слова“ включает в число русских земель и те, политическая самостоятельность которых была утрачена ко второй половине XII в. Так, например, река Дон, на которой находились кочевья половцев, но где имелись и многочисленные русские поселения, для автора „Слова“ — русская река. Дон зовет князя Игоря „на победу“. Донец помогает Игорю во время его бегства. Славу Игорю Святославичу по его возвращении в Киев поют девицы „на Дунаи“, где действительно имелись русские поселения. Там же слышен и плач Ярославны.

Неясен только один вопрос: включает ли автор „Слова о полку Игореве“ Полоцкое княжество в число русских земель. Слова автора из его обращения к ярославичам и всеславичам прекратить раздоры: „Вы бо своими крамолами начасте наводити поганыя на землю Русскую, на жизнь Всеславлю“ могут быть поняты по-разному. Можно понимать „на землю Русскую, на жизнь Всеславлю“ и как грамматическое сочинение (в таком случае „жизнь Всеславля“ не есть Русская земля), и как грамматическое подчинение (в таком случае „жизнь Всеславля“ входит в состав Русской земли); повидимому следует здесь видеть последнее: автор „Слова“ ведь противопоставляет полоцких князей не князьям русским, а только „ярославичам“; кроме того, автор „Слова“ обращается к полоцким князьям с призывом к защите Русской земли наряду со всеми русскими князьями, он обращается с призывом прекратить их „которы“ с ярославичами и т. д. Следовательно Полоцкая земля для автора „Слова“ — земля Русская.

То же представление о Русской земле как о едином большом целом отчетливо дает себя знать и в тех случаях, когда автор говорит об обороне ее границ. Южные враги Руси — половцы — для него главные враги, но не единственные. Защита русских границ воспринимается им как одно целое: он говорит о победах Всеволода Суздальского на Волге, т. е. над волжскими болгарами, о войне полоцких князей против литовцев, о „воротах“ Галицкой земли на Дунае, против подвластных Византии дунайских стран.

Автор „Слова о полку Игореве“ мыслит понятиями XII в., но вскрывает в этих понятиях наиболее передовое содержание.

Идея единства Русской Земли слагается им из представлений, свойственных эпохе феодальной раздробленности. Автор „Слова“ не отрицает, например, феодальных отношений, но в этих феодальных отношениях он постоянно настаивает на необходимости соблюдения

¹ Ср. „иде в Русь архиепископ Нифон с лучшими мужи“ (Новгородская первая летопись под 1135 г.); „бежающ же Святославу из Новгорода идущю в Русь и брату“ (Лавр. лет. под 1141 г.).

подчиняющих обязательств феодалов, а не на их правах самостоятельности. Он подчеркивает ослушание Игоря и Всеволода по отношению к их „отцу“ Святославу и осуждает их за это. Он призывает к феодальной верности киевскому князю Святославу, но не во имя соблюдения феодальных принципов, а во имя интересов всей Русской земли в целом.

Вопреки исторической действительности, слабого киевского князя Святослава Всеволодовича автор „Слова“ рисует могущественным и „грозным“. На самом деле Святослав „грозным“ не был: он владел только Киевом, деля свою власть с Рюриком, обладавшим остальными киевскими городами. Святослав был одним из слабейших князей, когда либо княживших в Киеве.

Не следует думать, что перед нами обычная придворная лесть. Автор „Слова“ выдвигает киевского князя в первые ряды русских князей потому только, что Киев все еще мыслится им как центр Русской земли — если не реальный, то во всяком случае идеальный. Он не видит возможности нового центра Руси на северо-востоке. Киевский князь для автора „Слова“ попрежнему глава всех русских князей. Автор „Слова“ видит в строгом и безусловном выполнении феодальных обязательств по отношению к слабеющему золотому киевскому столу одно из противоядий против феодальных усобиц, одно из средств сохранения единства Руси. Он наделяет Святослава идеальными свойствами главы русских князей: он „грозный“ и „великий“. Слово „великий“, часто употреблявшееся по отношению к главному из князей, как раз в это время перешло в титул князей владимирских: название „великого князя“ присвоил себе Всеволод Большое Гнездо, претендую на старшинство среди всех русских князей. Слово же „грозный“ и „гроза“ очень часто сопутствовало до XVII в. официальному титулованию старейших русских князей, хотя само в титул и не перешло (оно стало только прозвищем, при этом подчеркивающим положительные качества сильной власти, — Ивана III и Ивана IV). Слово „гроза“ как синоним силы и могущества княжеской власти часто употреблялось в XIII в. [„Демьян же одинако креялся, грозы его (князя) не убоялся“, Ипатьевск. лет., 1229 г.; князь Даниил Романович в Орде „живота не чаеть и грозы приходить“, Ипатьевск. лет., 1250 г.; „тобою есь... грозен (=силен) был“, Ипатьевск. лет., 1287 г.; „горожаном грозу подавая“, Ипатьевск. лет., 1291 г., и т. д.; ср. в самом „Слове о полку Игореве“ о Ярославе Осмомысле: „грозы его по землям текутъ“].

Итак, для автора „Слова“ — „грозный“ киевский князь — представление идеальное, а не реальное. При этом, что особенно интересно, для автора „Слова“ дороги все притязания русских князей на Киев. Нет сомнений в том, что он считает Святослава, силу которого он гиперболизирует, законным киевским князем. И, вместе с тем, игнорируя вотчинное право на Киев Святослава Всеволодовича, он пишет, обращаясь к Всеволоду Большое Гнездо, — князю, принадлежавшему ко враждебной Ольговичу Святославу мономашней линии русских князей: „Великий княже Всеволоде! Не мыслию ти прелетѣти издалеча отня злата стола поблюсти? [т. е. стол Киевский!]... Аже бы ты быль [в Киеве!], то была бы чага по ногатъ, а кощей по резанъ“. В этом обращении к Всеволоду все неприемлемо для Святослава, и все обличает в авторе „Слова“ человека, занимающего свою независимую, а отнюдь не „придворную“, позицию: 1) титулование Всеволода „великим князем“, 2) признание киевского стола „отним“ столом Всеволода и 3) призыв притти на юг. Каким образом может это совместиться

с позицией автора как сторонника „ольговичей“? Суть здесь, очевидно, в том, что новая политика Всеволода отчуждения от южнорусских дел казалась автору опаснее, чем его вмешательство в борьбу за Киевский стол. Всеволод, в отличие от своего отца Юрия Долгорукого, стремился утвердиться на северо-востоке, заменить гегемонию Киева гегемонией Владимира Залесского, отказался от притязаний на Киев, пытаясь из своего Владимира руководить делами Руси. Автору „Слова“ эта позиция Всеволода казалась не общерусской, местной, замкнутой, а потому и опасной.

Аналогичным образом автору „Слова“ казалась опасной слишком местная политика Ярослава Галицкого, и он подчеркивает его могущество, его власть над самим Киевом: „отворяеши Киеву врата“, говорит он о Ярославе Галицком. Слова, казалось бы, несовместимые с представлениями о могуществе Святослава Киевского, слова невозможные в устах „придворного поэта“ ольговичей, но простые и понятные для человека, страдающего за Киев, как за центр Русской земли, стремящегося привлечь к нему внимание замкнувшихся в местных интересах князей.

Знание глубочайших исторических явлений, происходивших в Галицкой земле и Владимиро-суздальской, при этом поразительно. От автора „Слова“ не ускользнуло то, что стало ясным для позднейших историков. Он усмотрел опасность для единства Руси именно в том, что и владимирские и галицкие князья перестали интересоваться Киевом, как центром Руси.

Однако автор „Слова“ не мог еще оторваться от представлений о Киеве как о единственном центре Руси. Да этого вряд ли было бы возможно от него и требовать. Он страстный сторонник идеи единства Руси, но единство это он еще понимает в устоявшихся представлениях XII в. Он уже видит значение сильной княжеской власти, но права первого князя на Руси еще обосновывает необходимостью строгого выполнения права феодального, подчеркивая в нем подчиняющие линии, права сюзерена, а не вассала. Он уже видит и признает силу владимиро-суздальского князя, но предпочитает его видеть на юге — в Киеве.

Из привычных представлений своего времени автор „Слова“ берет те, которые нужны ему, как стороннику идеи единства Руси. Выработка совершенно новых политических представлений — была делом будущего. Автор „Слова о полку Игореве“ гениальный современник, он мыслит представлениями XII в., хотя и вкладывает в эти представления прогрессивное содержание.

Те же представления о Киеве как о центре Русской земли пронизывают собою все изложение „Слова“. Поразительна, например, точность выбора выражений в характеристике последствий поражения Игоря: „а въстона бо, братие, Киев тугою, а Чернигов напастями“. Черниговская земля, действительно, подверглась „напастям“, реальным несчастиям, Киев же и Киевщина непосредственному разорению не подверглись; „туга“ — тоска, печаль — за всю Русскую землю распространялись здесь как в центре Руси; Киев страдает, следовательно, не собственными несчастиями, а несчастиями всей Русской земли.

Роль Киева, как центра Русской земли, особенно отчетливо выступает в заключительной части „Слова о полку Игореве“. Согласно летописи, Игорь, по возвращении из плена в Новгород-Северский, едет в Чернигов к Ярославу Святославичу, а затем уже из Чернигова отправ-

ляется в Киев к Святославу Всеволодовичу. „Слово о полку Игореве“ не упоминает ни о его пребывании в Новгороде-Северском, ни о его пребывании в Чернигове: Игорь прямо едет в Киев к Богородице Пирогющей. И в этом появлении Игоря прямо в Киеве у Святослава нельзя не усмотреть тенденции автора „Слова“: Игорь русский князь прежде всего, важно его возвращение в Киев, а не в Новгород-Северский. Славу ему поют не в Новгороде или Путинле, а на Дунае — в отдаленных русских поселениях, отрезанных от остальной Руси половцами, ибо радость по поводу его возвращения общерусская, а не какая либо местная. Пение этой славы достигает с Дунаем Киева. Его возвращение встречает отклик во всех русских сердцах, даже и тех, которые были заброшены на крайний юго-запад русского мира. Но отклик находят киевские, т. е. общерусские события, а не какие-либо местные. Это пение девиц на Дунае противостоит песням готских дев, радующихся русскому поражению. Поражение или победы русских имеют всесветный отклик.

Итак, единство Русской земли мыслится автором „Слова“ с центром в Киеве. Это единство возглавляется киевским князем, рисующимся ему в чертах сильного и „грозного“ князя.

Обращаясь с призывом к русским князьям встать на защиту Русской земли, автор „Слова“ в разных князьях рисует собирательный образ сильного, могущественного князя — сильного войском („много-воего“), сильного судом („суды ряда до Дуная“), вселяющего страх пограничным с Русью странам („ты бо можеши Волгу веслы раскрытии, а Донъ шеломы выльяти“; „подперь горы угорскыи своими желѣзными плѣки, заступивъ королеви путь, затворивъ Дунаю ворота“), распространяющего свою власть на громадную территорию с центром в Киеве („аще бы ты былъ...“ — на юге), а не в своем уделе, славного в других странах („ту нѣмци и венедици, ту греци и морава поютъ славу Святъславлю“).

Перед нами образ князя, воплощающего собой идею сильной княжеской власти. Эта идея сильной княжеской власти, с помощью которой должно осуществиться единство Русской земли, только еще рождалась в XII в.

Впоследствии этот же самый образ „грозного“ великого князя создает „Слово о погибели Русской земли“. Он отразится в Житии Александра Невского, в „Молении“ Даниила Заточника и в других произведениях XIII в. Не будет только стоять за этим образом „грозного“ великого князя — Киева, как центра Руси. Перемещение центра Руси на северо-восток и падение значения Киевского стола станет слишком ярым.

Однако автор „Слова“ сумел наблюсти идею сильной княжеской власти в ее жизненном осуществлении на том самом северо-востоке Руси, чьих притязаний стать новым центром Русской земли он еще не хотел признавать.

Сильная княжеская власть едва только начинала возникать, ей еще предстояло развиться в будущем, однако автор „Слова“ уже установил ее типичность, ее характерность, уловил в ней зерна будущего.

Конечно, идея сильной княжеской власти не слилась у автора „Слова“ с идеей единовластия. Для этого еще не было реальной исторической почвы. Автор „Слова“ видит своего сильного и могущественного русского великого князя действующим совместно со всеми остальными князьями, но в подчеркивании подчиняющих линий феодальной власти нельзя не видеть некоторых намеков на идею единовластия киевского князя.

Таким образом, единство Руси мыслится автором „Слова“ не в виде прекраснодушного идеала союзных отношений всех русских князей на основе их доброй воли и не в виде летописной идеи необходимости соблюдения добрых родственных отношений (все князья — „братья“ — „единого деда внуки“), и не в виде будущих идей единовластия, а в виде союза русских князей, на основе строгого выполнения феодальных обязательств по отношению к сильному и „грозному“ киевскому князю.

Обращаясь с призывом к русским князьям встать на защиту Русской земли, автор „Слова“ исходит из их реальных возможностей, оценивает те их качества, которые позволяют им быть действительно полезными в обороне Руси. И в данном случае автор „Слова“ выступает как реальный политик. По существу в „Слове“ предложен целый очерк современного автору политического состояния Руси.

Обратимся к этому очерку и посмотрим, как оценены в „Слове“ политические перспективы каждого из упомянутых в нем русских князей.

По существу, самая низкая оценка политических возможностей выпала в „Слове о полку Игореве“ на долю его героя — Игоря Святославича новгород-северского.

В образе Игоря Святославича подчеркнуто, что исторические события сильнее, чем его характер. Его поступки обусловлены в большей мере заблуждениями эпохи, чем его личными свойствами. Сам по себе Игорь Святославич не плох и не хорош: скорее даже хорош, чем плох, но его действия плохи и это потому, что над ним господствуют предрассудки и заблуждения эпохи. Тем самым на первый план в „Слове“ выступает общее и историческое над индивидуальным и временным. Игорь Святославич — сын эпохи. Это князь своего времени: храбрый, мужественный, в известной мере любящий родину, но безрассудный и недальновидный, заботящийся о своей чести больше, чем о чести родины.

На примере похода Игоря и его неудачи автор показывает несчастные последствия отсутствия единения. Игорь терпит поражение только потому, что пошел в поход один. Он действует по формуле „мы себе, а ты себе“. Слова Святослава киевского, обращенные к Игорю Святославичу, характеризуют в известной мере и отношение к нему автора „Слова“. Святослав говорит, обращаясь к Игорю и Всеволоду: „О, моя сыновчя, Игорю и Всеволоду! Рано еста начала Половецкую землю мечи цвѣлити, а себѣ славы искати. Нѣ нечестно одолѣсте, нечестно бо кровь поганую пролиясте. Ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузъ скованы, а въ буести закалены. Се ли створисте моей сребреней съдинъ... Нѣ рекосте: «мужаемъся сами: преднюю славу сами похитимъ, а заднюю си сами подѣлимъ!» А чи диво ся, братие, стару помолодити? Коли соколь въ мытехъ бываетъ, высоко птицъ възвѣвается: не дастъ гнѣзда своего въ обиду. Нѣ се зло — княже ми непособие: наниче ся годины обратиша“.

По существу, весь рассказ в „Слове“ о походе Игоря выдержан в этих чертах его характеристики Святославом: безрассудный Игорь идет в поход, несмотря на то, что поход этот с самого начала обречен на неуспех. Он идет несмотря на все неблагоприятные „знамения“. Единственной движущей силой его при этом является стремление к личной славе. Игорь говорит: „Братие и дружино! луце жъ бы потяту быти, неже полонену быти; а всядемъ, братие, на свои брѣзыя комони, да позримъ синего Дону“, и еще: „Хощу бо, рече, копие приломити конецъ поля Половецкаго; съ вами, русици, хощу главу свою прило-

жити, а любо испити шеломомъ Дону".¹ Желание личной славы „заступает ему знамение“. Ничто не останавливает Игоря на его роковом пути.

Осуждение Игоря явно чувствуется еще в одном месте „Слова о полку Игореве“, по другому поводу. Сравнивая битву Игорева войска и половцев с пиром, автор „Слова“ говорит: „ту кроваваго вина не доста: ту пиръ докончаша храбрии русичи: сваты попоша, а сами полегоша за землю Русскую“. Автор „Слова“ неизменно точен в выборе выражений. Слово „сваты“ употреблено им в отношении половцев далеко не случайно.² Предводитель половецких сил хан Кончак был действительно „сватом“ Игоря. Сын Игоря был помолвлен с дочерью Кончака еще раньше. Свадьба состоялась в плену. Владимир вернулся из плена с „дитятею“ и уже по возвращении из плена был венчан по церковному обряду.

Однако половцы были „сватами“ русских князей далеко не в одном случае. Олег „Гориславич“ был женат на дочери хана Асапупа. Святополк Изяславич Киевский был женат на дочери Тугорхана. Юрий Долgorukий был женат на дочери хана Аепы, внучки хана Осения. Святослав Ольгович, отец Игоря, был женат на внучке другого Аепы. Сын Мономаха Андрей Добрый был женат на дочери Тугорхана; Рюрик Ростиславич — на дочери хана Беглюка. Внучка хана Кончака была выдана замуж за Ярослава Всеволодовича.

Как видим, обращаясь с призывом к русским князьям, направляя им в первую очередь свой призыв встать на защиту Руси, автор „Слова о полку Игореве“ имел право назвать с горьким чувством врагов Руси — половцев — „сватами“.

Осуждение женитьб на половчанках проглядывает еще в одном месте „Слова“: в числе жертв похода 1185 г. киевские бояре называют Святославу Всеволодовичу только „два солница“ — Игоря и Всеволода — „и съ нима молодая мѣсяца, Олегъ и Святъславъ“. Олег — это сын Игоря, родившийся в 1175 г., Святослав — его племянник, князь Рыльский. Не назван Владимир — старший сын Игоря, несомненный участник похода Игоря (он назван в летописи). А. В. Соловьев,³ впервые внимательно изучивший все упоминания князей в „Слове“, заподозрил в этом пропуске ошибку переписчика (стр. 74). Однако двойственное число („съ нима молодая мѣсяца, Олегъ и Святъславъ“) устраняют возможность механического пропуска переписчика. Перед нами повидимому сознательный пропуск, объясняемый тем, что в Киеве знали о женитьбе Владимира на Кончаковне в плену и, следовательно, не могли рассматривать его как жертву похода. Вряд ли было бы уместно говорить о Владимире как о померкшем месяце в то самое время, когда в ставке Кончака ему пелась свадебная слава. Однако несмотря ни на что, возвращение Владимира в Киев радует автора „Слова“ так же как и возвращение Игоря: „Слово“ заключается славой Игорю, Всеволоду и Владимиру.

Итак, на всем протяжении „Слова о полку Игореве“ автор относится к Игорю с неизменным сочувствием. Но, сочувствуя Игорю, он осуждает его поступок, и это осуждение, как мы видели, прямо влагается им в уста Святослава Киевского и подчеркивается всеми исто-

¹ Ср. похвальбу Игоря и Всеволода в рассказе Лаврентьевской летописи о походе Игоря: „сами поидаша о себе рекуще: «мы есмы ци не князи же? поиdem, ты же собе хвалы добудем»“ (Лаврентьевск. лет. под 1186 г.).

² На это обстоятельство обратил мое внимание в частной беседе И. У. Будовниц.

³ Политический кругозор автора „Слова о полку Игореве“. Историч. зап., № 25, М., 1948.

рическими параллелями, которые он приводит в „Слове“. Его позиция по всякому случаю не позиция придворного Игоря Святославича, как и не придворного Святослава Всеволодовича. И в этом случае он независим в своих суждениях.

Никаких конкретных указаний на какие-либо особенности новгород-северского княжения „Слово“ не дает. Перед нами только сама яркая личность новгород-северского князя. Все остальные русские князья охарактеризованы в „Слове“ в конкретных чертах их княжений. В каждом из них подчеркнуты черты, типичные для их княжений в целом.

Так, например, в своих присущих только Черниговско-северским княжениям чертах выступают курский князь Всеволод и черниговский Ярослав.

В „Слове“ отмечена такая деталь, как наличие в Северской земле сильного „земского боярства“ — местной родовой знати и мелких феодалов. Автор „Слова“ говорит о курских „кметях“¹ и о черниговских „былях“ — „ревугах“, „ольберах“, „топчаках“, „шельбирах“, „татранах“.² Судя по этим названиям, это знать тюркского происхождения, что было также характерно для Чернигова.³ С этой местной знатью, как пишет В. В. Мавродин, вынуждены считаться северянские князья, в связи с чем и было весьма уместным упоминание в „Слове“ этих „былей“ и „кметей“ рядом с князьями курским и черниговским.

Одно из центральных мест в „Слове“ занимает „золотое слово“ Святослава Киевского, продолженное обращением самого автора „Слова“ к русским князьям. Здесь важно то, что автор „Слова“ обращается ко всем русским князьям. Если он и не перечисляет их всех, то, во всяком случае, он обращается к князьям, сидевшим и на востоке и на западе: к князьям владимиро-суздальским, полоцким, галицким и т. д. Всех их автор „Слова“ считает причастными общему русскому делу — защите южных границ Руси.

Последовательность, в которой автор „Слова“ обращается к русским князьям, едва ли не случайна. В ней нет ни местничества, ни родовой точки зрения. Он не учитывает родственных отношений или степени важности княжеств. Ему ничего не стоит обратиться сперва к племяннику, а потом к дяде (к Владимиру Глебовичу, а потом к Всеволоду Суздальскому), к ольговичам в перемешку с мономаховичами, к смоленским князьям (Рюрику и Давиду Ростиславичам) прежде чем к Ярославу Осмомыслу.

Бряд ли возможно установить здесь какую-либо последовательность. Скорее всего последовательность здесь живая, непосредственная, лишенная особых расчетов и этикета. Он обращается прежде всего к тем князьям, чьего участия в будущем походе он больше всего добивается, от кого прежде всего ждет отклика. При всем величии

¹ В. В. Мавродин. Очерки истории левобережной Украины. Л., 1940, стр. 146.— Ср. также характеристику „кметей“, которую дает В. В. Мавродин в другом месте своей работы: „Кмети — мелкие зажиточные хозяйствчики, превращающиеся или уже превратившиеся в феодалов. У западных славян термин «кмет» означает служилого одноворца, в Сербии — начальника, старосту, на Украине — зажиточного крестьянина. Но даже если не все кметы уже стали феодалами, то путь один — к служилому люду, землевладельцу, феодалу типа позднейшего «комонства», «садников», мельчайшего дворянства. Поэтому „кметы“, генетически связанные с земским мельчайшим боярством, стремясь к укреплению своей власти и обогащению, пытаются добиться этого, опираясь на князя и входя в его дружину. Так, по крайней мере, было в Северской земле“ (В. В. Мавродин. Очерки истории левобережной Украины. Л., 1940, стр. 154).

² Там же.

³ Там же, стр. 148—149.

своего патриотического воодушевления, автор „Слова“ прежде всего реалист в политике.

Автор „Слова“ по-разному оценивает политические перспективы русских княжеств. Он не рассматривает их ни под пессимистическим, ни под оптимистическим углом зрения. Отмечая растущую силу владимиро-суздальской и галицко-волынской земель, он с горькой иронией дает совет полоцким князьям: „понизите стязи свои, вонзите мечи свои вережени“. Действительно, „Западной Руси готовилась судьба пойти материалом на строение нового политического здания — великого княжества Литовского, войти в состав «земли Литовской» в тесном смысле слова“.¹

Прежде всего автор „Слова“ обращается к Всеволоду Юрьевичу Суздальскому. Он отмечает, что Всеволод замкнулся в политических интересах только своего княжества: „Великий княже Всеволоде! Не мыслию ти прелетъти издалеча отня зата стола поблюсти?“ И этим верно отмечен поворот в политике владимирских князей, наступивший во второй половине XII в. В отличие от Юрия Долгорукого, Андрей Боголюбский порывает с Киевом, за обладание которым боролся его отец, и уходит к себе на север. Здесь на севере Андрей делает ряд попыток обосновать новый центр Руси. Политику Андрея решительно продолжил его брат Всеволод. „Ты бо можеши Волгу веслы раскрытии“: в этих словах автора „Слова“ подчеркнута и многочисленность войска Всеволода, и его успешная борьба с волжскими болгарами (1183 и 1186 гг.).

Наконец, полны исторического значения и заключительные слова обращения к Всеволоду: „Ты бо можеши посуху живыми шереширы стрѣляти, удалыми сыны Глѣбовы“, под которыми, очевидно, подразумеваются сыновья Глеба Ростиславича Рязанского, которых Всеволод держал в своей власти.

Обращаясь к Рюрику и Давыду Ростиславичам, автор отмечает лишь одну их характерную особенность — их храбрую дружину, закаленную в боях. Так оно, очевидно, и было. Рюрик и Давыд провели беспокойную жизнь. Рюрик неоднократно появлялся на киевском столе, захватывая его военной силой. Не раз ходил Рюрик и на половцев, только недавно, в 1183 г., нанеся половцам жестокое поражение на реке Хирии (или Хороле?). Ходил Рюрик на половцев и в 1185 г. Эти войны с половцами, очевидно, и имеет в виду автор „Слова“, когда пишет: „Не ваю ли храбрая дружины рыкаютъ акы тури ранены саблями калеными на полѣ незнаемъ?“

Обращаясь к Ярославу Осмомыслу Галицкому, автор „Слова“ верно отмечает его силу: наряду с княжеством Владимира-суздальским, Галицкое княжество было явно на подъеме своего могущества. Ослабление Киева и Чернигова в XII в. шло параллельно росту могущества княжеств Владимира-суздальского и Галицкого.

Автор „Слова“ называет престол, на котором сидит Ярослав Осмомысл, „златокованным“, и это не случайно. Здесь, как и во многих других случаях, поражает исключительная точность и многозначность подбираемых им выражений. Термины „злаченый“, „золотой“ или „златокованный“ всегда употребляются в точном смысле. Так, например, шлемы дружины Рюрика и Давида Ростиславичей названы „злачеными“. Шлемы никогда не делались из сплошного золота — слишком мягкого

¹ А. Е. Пресняков. Лекции по русской истории, т. II, вып. 1. М., 1939, стр. 45.

и слишком тяжелого для шлема материала. Термин „зототой“ может в равной степени означать и „золоченый“, и сделанный из сплошного золота. Княжеский стол в Киеве назван „золотым“. Он золотой прежде всего по своему значению, а может быть и потому, что реальный стол в Киеве был золотым или золоченым. Зато стол Галицкий назван „златокованным“, сделанным из сплошного золота и этим подчеркивается только одна материальная сторона: богатство престола, а следовательно и богатство Галича. Действительно, из всех княжеств Руси XII в. Галицкое было самым богатым вследствие выгодного для Галича перемещения в XII в. соединявших Север и Юг Европы торговых путей из Поднепровья, где их прервали половцы, на Запад — в безопасные районы Галицкого княжества. Усиление в XII в. галицких городов было вызвано их увеличившимся торговым значением. Еще отец Ярослава Осмомысла Владимирко широко действовал подкупом, вызывая этим раздражение киевлян (Ипатьевск. лет. под 1144 г.).

Неслучайно и другое выражение автора „Слова“, употребленное им в отношении Ярослава Осмомысла Галицкого: „высоко съдиши на... столъ“. Действительно, кремль Галича, где находилась и резиденция Ярослава Осмомысла, был расположен на высоком холме.¹

„Слово“ отмечает также подчиненность ему всех русских земель до самого Дуная: „суды ряда до Дуная“. „Рядить суды“ или „ряды править“ — одно из главных княжеских дел. Ср. в Лаврентьевской летописи под 1206 г.: Константин Всеволодович въехал в Новгород на княжение, сел на столе в Софии („короновался“), оттуда пришел в свою обитель (т. е. в свой дворец), отпустил новгородцев с честью „и потомъ поча ряды правити“, т. е. после этого стал управлять Новгородом. В 1151 г. престарелый киевский князь Вячеслав, желая разделить княжение с Изяславом Мстиславичем, послал ему сказать: „...яз есмь стар, а всих рядов не могу уже рядити, но будеве оба Киеве...“ (Ипатьевск. лет. под 1151 г.). В 1154 г. тот же престарелый Вячеслав говорит приехавшему в Киев Ростиславу: „Сыну! Се уже в старости есмь, а рядов всих не могу рядити; а, сыну, даю тебе, яко же брат твой держал и рядил, тако же и тебе даю... а се полк мой и дружина моя, ты ряди“. Из этих примеров ясно, что слова „суды ряда до Дуная“ в широком смысле означают „управляя землями до самого Дуная“.

Заслуживает внимания и другое. В „Слове“ подчеркнуто, что Ярослав сидит на своем златокованном престоле, и с этого престола совершают все свои деяния; Ярослав, сидя на своем престоле, „подперъ горы угорскыи“, затворяет „Дунаю ворота“, с престола мечет „бремены чрезъ облакы“, отворяет „Киеву врата“, стреляет „съ отня зата стола салътани за землями“. Объяснение этой характеристики Ярослава Осмомысла, совершающего все свои богатырские деяния, сидя на отнем златокованном престоле, счастливо сохранила нам летопись: в некрологической статье, посвященной Ярославу Осмомыслу под 1187 г., сказано: „бе же князь мудр и речен языком, и богобоин, и честен в землях и славен полки: где бо бяшеть ему обида, сам не ходяшеть полки своими, но посылашеть я с вое — водами; бе бо ростроил землю свою“ (Ипатьевск. лет. под 1187 г.).

Следующий затем призыв обращен к „буй-Роману и Мстиславу“. Буй-Роман — Роман Мстиславич. Это ясно из перечисления его побед

¹ Я. Пастернак. Галицька катедра у Кирилосі. Видбитка із Зап. Наук.-тov. ім. Шевченка. У Львові, 1937. Ср. его же „Старий Галич“, Л., 1944.

над литвой, ятвягами, деремелой и половцами. Из Романов, современников автора, только Роман Мстиславич Галицкий ходил на все эти народы. Именно для его войска было характерно и латинское вооружение („суть бо у ваю желѣзныи паробци подъ шеломы латиньскими“). Но кто такой Мстислав, по всему судя близкий к Роману, деливший его победы? Это мог быть Мстислав Ярославич Пересопницкий и Мстислав Всеволодович Городенский.

Затем автор „Слова“ обращается к Инъгварю и Всеволоду и ко „всем трем Мстиславичам“. Инъгварь и Всеволод — это сыновья Ярослава Изяславича Луцкого; но кто такие „и вси три Мстиславичи“? Повидимому, это какая-то другая группа князей. Нельзя считать, как это делают обычно, что это тот же Инъгварь, Всеволод и их неназванный брат Мстислав. Против такого понимания говорит самое грамматическое построение этой фразы, в которой автор „Слова“ обращается к ним: „Инъгварь и Всеволодъ и вси три Мстиславичи“. Кроме того, Ингварь и Всеволод имели не одного, а еще двух братьев (кроме Мстислава — еще и Изяслава, умершего в 1196 г.). Следовательно их не трое, а четверо и о них нельзя было сказать „вси три“. Кроме того, они не Мстиславичи, а Ярославичи (дети Ярослава Изяславича Луцкого). Мстиславичами они вряд ли могли быть названы по прародителю — Мстиславу Владимировичу.

Здесь, несомненно, имеются в виду единственные в ту пору на Руси три брата — сыновья Мстислава Изяславича — Роман, Святослав и Всеволод.¹ Все эти три Мстиславича, как и Инъгварь и Всеволод, были князьями волынскими — вот почему они объединены в единственном обращении к ним. Они не названы по имени, так как автор „Слова“ уже назвал только что выше одного из них — Романа. В этом месте он повторяет свое обращение к Роману, объединяя его со всеми его волынскими братьями. Он говорит „и вси три Мстиславичи“, подчеркивая этим, что речь перед тем шла только об одном Мстиславиче, а теперь идет о всех. Повторение этого вполне естественно: автор „Слова“ обращается к волынским князьям Инъгварю и Всеволоду и объединяет свое обращение к ним с обращением ко всем другим волынским князьям: „Инъгварь и Всеволодъ и вси три Мстиславичи“ — здесь перечислены все волынские князья.

Мстиславичи эти были по матери полуполяками — внуками польского короля Болеслава Кривоустого. Вот почему в обращении к ним автор „Слова“ говорит: „кое ваши златыи шеломы и сулици ляцкыи и щиты?“.

Конечно, это и не простой намек на полупольское происхождение Мстиславичей. Гораздо вероятнее, что автор „Слова“, имея в виду полупольское происхождение Мстиславичей, намекает здесь, одновременно, и на ту военную помощь, которую получали волынские князья из Польши. Ведь именно это было важно подчеркнуть автору „Слова о полку Игореве“, взывая к их военной мощи. „Польские силы не раз помогают волынским князьям в их борьбе против киевских или

¹ Кроме этих трех сыновей Мстислава Изяславича, был еще Владимир, но он умер значительно раньше. Год смерти Святослава точно неизвестен. В генеалогических таблицах ошибочно указывается год смерти Святослава — 1171 (у С. М. Соловьева, М. С. Грушевского и их предшественников), однако в Ипатьевской летописи Святослав Мстиславич упоминается под 1173 г. [о том, что год смерти Святослава неизвестен, говорит и М. С. Грушевский (Історія України-Руси, т. II, А., 1905, стр. 366)]. Мысль о том, что под „тремя Мстиславичами“ разумеются три сына Мстислава Изяславича, подсказана мне Ив. М. Кудрявцевым.

галицких князей,— пишет А. Е. Пресняков. Еще в 80-х годах XI в. Владислав-Герман поддерживает Ярополка Изяславича против Всеволода Ярославича киевского, а в 90-х годах Болеслав Кривоустый подымается на помощь Ярославу Святополичу против Мономаха. Изяслав Мстиславич в борьбе с Юрием Долгоруким и Владимиром галицким ищет союза польских князей, женился сына на сестре Казимира Справедливого и выдав дочь за его брата Мешка Старого. И этот волынско-польский союз держится в течение трех поколений, продолжаясь при Мстиславе Изяславиче и Романе Мстиславиче. Мстислав и неудачные годы уходит «в ляхи», во время борьбы за Киев «снимается с ляхи». Часто обращается к ним за помощью и Роман как в борьбе за Киев, так и в первых же покушениях своих на Галицкое княжество¹.

Отношения Волыни с Польшей были сложнее, чем простая помощь Польши волынским князьям. В их основе, в конечном счете, лежали притязания польских королей на Волынь, но для нас важно то, что польско-волынские отношения не прошли мимо наблюдательного глаза автора „Слова“. Пока его интересует только военная помощь волынских князей и их польских союзников против половцев.

Дойдя в своем обращении ко всем русским князьям до князей полоцких, автор „Слова“ ограничивается в отношении их лишь призывом прекратить раздоры с остальными русскими князьями. Он отмечает слабость полоцких князей в обороне их собственных границ от литовцев и поэтому, может быть, не рискует их отвлечь от своих собственных дел — делами половецкими. Положение на границах Полоцкой земли с литовцами автор „Слова“ сравнивает с положением южных границ Руси с половцами: „Уже бо Сула (пограничная река на юге.—Д. Л.) не течеть сребреными струями къ граду Переяславлю, и Двина (пограничная река на западе.—Д. Л.) болотомъ течеть оным грознымъ полочаномъ подъ кликомъ поганыхъ (литовцев.—Д. Л.)“. С горечью отмечает автор „Слова“, что только один Изяслав Василькович (князь по летописям неизвестный) оказал сопротивление литовцам, но при этом сам потерпел поражение, „притрепав“ тем самым военную славу своего прародителя Всеслава Полоцкого: „Единъ же Изяславъ, сынъ Васильковъ, позвони своими острыми мечи о шеломы литовьскыя, притрепа славу дѣду своему Всеславу, а самъ подъ чрълеными щиты на кровавѣ травѣ притрепанъ литовскыми мечи...“.

Обращает на себя внимание отсутствие призыва к Новгороду Великому. На первый взгляд это кажется странным, но на самом деле, это показывает в авторе „Слова“ реального политика. Это не означает, что автор „Слова“ считал Новгород вне пределов Русской земли. Выражение „расшибе славу Ярославу“ показывает, что автор „Слова“ вводил Новгород в круг русских исторических традиций и, следовательно, не исключал его из числа русских городов. Автор „Слова“ потому не обращается с призывом к Новгороду, что там не к кому было обращаться. Во главе Новгорода стоял не князь, который худо ли хорошо ли, но все же мог быть в XII в. представителем общерусских интересов, а боярская олигархия, которая была связана только со своей землей и для которой общерусские интересы были абсолютно чужды. Обращаться к ней было бесполезно, и автор „Слова“ не сделал этого. Ни разу еще новгородские войска не участвовали в XII в. в общерусских походах. Узко местные интересы преобладали в среде

¹ „Лекции по русской истории“, т. II, вып. 1. М., 1939, стр. 23—24.

новгородского боярства и купечества. Отсюда можно заключить, что обращения автора „Слова“ не были только литературной формой, за которой скрывалось ни к кому конкретно не обращаемая пропаганда единства Руси. Автор „Слова“ обращался к конкретным князьям с призывом к конкретному походу и конкретному союзу против степи.

* * *

Подведем итоги. Автор „Слова“ — человек широкой исторической осведомленности. Он внимательный читатель „Повести временных лет“ и, вместе с тем, наслышан в народной исторической поэзии. Он имеет свои отчетливые представления о русской истории, хотя эти представления и являются представлениями поэта, а не историка, при этом поэта XII столетия. Его суждения о русской истории плод ее поэтического восприятия, но поэтического восприятия, проникнутого историзмом в пределах, доступных его эпохе. Русская история имеет для него ясно представляемые черты своего собственного бытия. Она изменяется в этих чертах.

По крайней мере три периода, три сменяющих друг друга образа исторических эпох намечаются в его поэтическом сознании: время Трояна, время Ярослава и время Олега „Гориславича“. Современность имеет для автора „Слова“ свои корни в историческом прошлом. Для автора — она естественное продолжение эпохи усобиц Олега „Гориславича“. Он ищет корней политики современных ему князей крамольников в походах Олега.

В своих исторических воззрениях автор „Слова“ зависит от летописи и фольклора, но его исторические воззрения выше и летописных и фольклорных. От летописцев автора „Слова“ отделяет огромная сила исторического обобщения. Он обобщает историю в конкретных поэтических образах. От „песнотворцев“ его отделяет критическая оценка прошлого и настоящего. Однако он берет свои сведения и из летописи, и из фольклора; он развивает отдельные мысли летописца и проникается духом народного поэтического творчества.

Свои суждения автор „Слова“ не отделяет от общественного мнения. На это общественное мнение он постоянно опирается в своих оценках происходящего. Выразителем общественного мнения он себя и признает, стремясь передать свою оценку событий как оценку общенародную. Но при этом, то общественное мнение, которое он выражает, является общественным мнением лучших русских людей его времени.

Автор „Слова“ в нормах феодального поведения, в кодексе дружинной морали, в идеологии верхов феодального общества находит лучшие стороны и стремится переосмыслить феодальные понятия. Он наполняет своим, патриотическим содержанием понятия „чести“, „славы“, „хвалы“ и „хулы“.

Автор „Слова“ — сторонник сильной княжеской власти во имя обуздания произвола мелких князей, во имя единства Русской земли. Все „Слово“ проникнуто единым патриотическим настроением и единой патриотической идеей — идеей единства Русской земли. Призывом к этому единству и к твердой обороне Руси от „поганых“, по существу, оно и является. Автор „Слова“ и в этом явился человеком своего времени, глашатаем мнения лучших своих современников. Он творит идеи, потребность в которых живо ощущалась в его время. Он — око и ум народа. Он высказывает то, что должно быть высказано. Вот

почему автор „Слова“ неразрывен со своим народом и своей эпохой, его породившей.

Его подлинным героем является русский народ и Русская Земля. Образ Русской Земли центральный в „Слове“. Автор представляет ее себе во всей сложности политической ситуации своего времени, в широкой исторической перспективе, в образах ратных подвигов и мирного созидающего труда. Его произведение своими призывами к единению устремлено к будущему, полному для него светлых надежд, оно рисует картины печального настоящего и ищет корней этого настоящего в прошлом. Оно полно веры в будущее, скорби о настоящем, гордости прошлым и мудрого раздумья и над прошлым, и над настоящим, и над будущим, слитыми для него в едином образе Русской Земли.

Кем был автор „Слова о полку Игореве“? Он мог быть приближенным Игоря Святославича: он ему сочувствует. Он мог быть и приближенным Святослава Киевского: он сочувствует также и ему. Он мог быть черниговцем и киевлянином. Он мог быть дружиинником: дружиинными понятиями он пользуется постоянно. Однако в своих политических воззрениях он не был ни „придворным“, ни защитником местных тенденций, ни дружиинником. Он занимал свою независимую патриотическую позицию, по духу своему близкую широким слоям трудового населения Руси. Его произведение — горячий призыв к единству Руси перед лицом внешней опасности, призыв к защите мирного созидающего труда русского населения — земледельцев и ремесленников, еще тесно связанных с этим земледельцами.

Крестьянство, как класс феодального общества, было главным производителем материальных ценностей в средние века. Оно же было и производителем ценностей идейных. Автор „Слова о полку Игореве“ не принадлежал к крестьянству: против этого говорит и его образование и его отличная осведомленность в феодальных и дружиинных понятиях, но он во многом стоял на крестьянских идейных позициях. Именно крестьянство и связанные с ним трудовые слои городского населения были больше всего, как это показали еще киевские события 1068 г., заинтересованы в прекращении усобиц и в твердой обороне Руси от половецких нашествий, во время которых „рѣтко ратаевъ кикахуть, нѣ часто врани гряхуть, трулиа себѣ дѣляче“. Именно крестьянство могло быть больше всего недовольным русско-половецкими брачными союзами местной феодальной знати. Не случайно в XI и XII вв. инициатива во всякого рода восстаниях, в том числе и городских, исходила от сельского населения. Только с ростом городов эта инициатива переходит к эксплуатируемым слоям городского населения, за которыми начинает итти и крестьянство.¹

Вот почему именно оно, крестьянство, снабдило автора „Слова“ (возможно дружиинника) своим политическим мировоззрением, выраженным и в фольклоре, своим фольклорным отношением к русскому прошлому и настоящему, фольклорными элементами его поэтической системы.

* * *

Достиг ли призыв автора „Слова“ до тех, кому он предназначался? Можно предполагать, что в известной мере — да. Игорь Святославич отказывается от своих одиночных действий против половцев. В 1191 г.

¹ Б. Д. Греков. Крестьянство на Руси. М.—Л., 1946, стр. 233 и сл.

он организует целую коалицию против половцев. В походе кроме Игоря Святославича участвовали: Всеволод Святославич, Всеволод, Мстислав и Владимир Святославичи, сыновья Святослава Всеволодовича Киевского, Ростислав Ярославич, сын Ярослава Всеволодовича и сын Олега Святославича — Давид. Поход этот был неудачен, но самая организация его в таких масштабах не случайна.

Однако подлинный смысл призыва автора „Слова“ может быть заключался не в попытке организовать тот или иной поход, а в более широкой и смелой задаче — объединить общественное мнение против феодальных раздоров князей, заклеймить в общественном мнении вредные феодальные представления, мобилизовать общественное мнение против поисков князьями личной „славы“, личной „чести“ и мщения или личных „обид“. Задачей „Слова“ было не только военное, но и идейное сплочение всех лучших русских людей вокруг мысли о единстве Русской земли. Вот почему автор „Слова“ так часто и так настойчиво к этому общественному мнению апеллирует. Эта задача была рассчитана не на год и не на два. В отличие от призыва к организации военного похода против половцев, она могла охватить своим мобилизующим влиянием целый период русской истории — вплоть до татаро-монгольского нашествия. „Смысл поэмы, — писал К. Маркс в письме к Энгельсу, — призыв русских князей к единению как раз перед нашествием монголов“.¹

Ленинград.



¹ К. Маркс. Письмо к Энгельсу от 5 марта 1856 года, Собр. соч., т. XXII, стр. 122.

Д. С. Лихачев

УСТНЫЕ ИСТОКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
„СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ“

I

Истоки русской литературы — в дописьменной Руси. Своим необычайно быстрым ростом русская литература XI — XII вв. обязана прежде всего тому высокому уровню устного русского языка, на котором застает его появление и широкое распространение русской письменности.

Русский язык оказался способным выразить все тонкости отвлеченной мысли, передать сложное историческое содержание всемирной и русской истории, ответить нуждам нового для Руси, но уже достаточно старого христианского культа, воплотить в себе изощренное ораторское искусство церковных проповедников, воспринять в переводах лучшие произведения европейской средневековой литературы. И это произошло потому, что созданию письменного литературного языка предшествовал устный литературный язык — язык „устной литературы“, содержание которой не покрывалось одним только фольклором.

В самом деле, общественный уклад древне-русской жизни способствовал развитию устной речи в ее самых разнообразных формах. Еще в период, предшествующий феодализации русского государства, общественный быт требовал постоянных устных выступлений: на вече, на сходках старейшин, при переговорах между племенами или с иноземными государствами, на пиршественных собраниях, столь типичных для дофеодального быта, на похоронах и тризнах. С краткими и энергичными речами обращались князья и воеводы к своим воинам перед выступлениями в поход или перед началом битвы, подавая им „дерзость“ и побуждая к стойкости. Вот, например, известные речи князя Святослава Игоревича к своим дружинникам: „уже нам сде пасти; потягнем мужьски, братья и дружино“ („Повесть временных лет“, 971 г.); „уже нам некамо ся дети, волею и неволею stati противу; да не посрамим земле Руские, но ляжем костьюми, мертвии бо срама не имам...“ и т. д. (там же). Эти речи Святослава в известной мере связаны со всей традицией русского воинского ораторского искусства. „Аще жив буду, (то) с ними, аще погыну, то с дружиною“, — говорит Вышата своей дружине („Повесть временных лет“, 1043 г.). „Потягнете, уже нам не лзе камо ся дети“, — говорит Святослав Ярославич перед битвой с половцами („Повесть временных лет“, 1068 г.). „Да любо налезу собе славу, а любо голову свою сложю за Русскую землю“, — говорит Василько Теребовльский („Повесть временных лет“, 1097 г.). С такими же речами

обращается к своей дружине и герой „Слова о полку Игореве“ Игорь Святославич Новгород-Северский перед битвой с половцами: „Братья! сего есмы искале, а потягнем“ (Ипатьевск. лет. под 1185 г.) или: „Оже побегнемъ, утчемъ сами, а черныя люди оставимъ, то от бога ны будетъ грехъ сихъ выдавше пойдемъ; но или умремъ, или живи будемъ на единомъ месте“ (там же).

Все эти речи свидетельствуют о высокой культуре устной воинской речи. В них чувствуется и княжеская ласка к дружинымъ в назывании их „братьями“, и отчетливое представление о воинской чести и чести родины, и мудрость воина. Но они поражают также стройностью и исключительнымъ лаконизмомъ выражения.

Повидимому, яркой выразительностью отличались и речи, произносившиеся на пирах и тризнах. Пиры были широко распространены в быту княжеском, церковном, купеческом и крестьянском. О погребальныхъ тризнах упоминают Ибн-Фадлан и русская летопись в рассказе о третьей мести княгини Ольги древлянамъ. О полуязыческих трапезах роду и рожаницам упоминают списки тех исповедальныхъ вопросов, которые священники обязаны были задавать на духу. Сохранилось немало свидетельств и о мирских братчинах городских и сельских общин. Наконец, летопись донесла до нас многочисленные свидетельства о пирах князей с их широкимъ гостеприимствомъ. Они устраивались и по поводу вocationия нового князя, и по поводу построения новой церкви или монастырской стены, и по поводу военныхъ побед, и при дипломатическихъ свиданиях русскихъ князей. На пирахъ этихъ произносились похвальные речи, провозглашались здравицы, произносились поучения „духовнымъ отцомъ“ за четвертой чашей. „Слово о богатомъ и убогомъ“ говорит, что на пирахъ этихъ выступали „ласковьцы, шьпилеве, празднословьцы, смехословьцы“. Следовъ этого пиршественного ораторства до нас почти не дошло, но о наличии его выразительно свидетельствует надпись на „круговой“ серебряной чаре Владимира Давидовича (1139—1151 гг.): „А се чара кня(зя) Володимира Давыдовича, кто из нее пь(ет) тому на здоровъя, а хваля бога своего и осподаря великого кня(зя)“. Отзвукомъ такой хвалы князьямъ может быть является заключительная здравица в „Словѣ о полку Игоревѣ“: „Солнце свѣтится на небесѣ, Игорь князь в Русской земли. Дѣвици поютъ на Дунаи, въются голоси чрезъ море до Киева. Игорь Ѣдетъ по Боричеву къ святѣй Богородицѣ Пирогощѣ. Страны ради, гради весели. Пѣвша пѣснь старымъ княземъ, а потомъ молодымъ пѣти: Слава Игорю Святъславичю, буй туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу. Здрави князи и дружина, побарая за христьяны на поганыя пльки! Княземъ слава а дружињъ!“.

Слава князьямъ провозглашалась не только на пирахъ. Ее пели победителю на улице или избранному князю на княжомъ дворе. Такъ было в 1058 г., когда киевляне, освободив Всеслава из поруба, „прославиша й (его) среде двора къняжа“ („Повѣсть временныхъ лет“). Такъ было в 1242 г., когда псковичи встречали Александра Невского при возвращении с Ледового побоища „поюще песнь и славу государю, великому князю Александру Ярославичу“.¹ Такъ было в 1251 г. при возвращении из победоносного похода Даниила Галицкого и его брата Василька: „и песнь славну пояху има, богу помогшу има, и придоста со славою на землю свою, наследивши путь отца своего великого Романа...“ (Ипатьевск. лет.).

¹ Житие Александра Невского в псковской редакции.

Все эти формы устной речи были унаследованы Киевской Русью еще от периода патриархально-общинных отношений. В период раннего феодализма стихия устной ораторской речи получила еще ряд новых форм для своего развития (речи на княжеских снемах, крестоцеловальные речи на Любечском съезде 1097 г., на заседаниях Совета господ в Новгороде, при судопроизводстве и т. д.). Наконец, в многочисленных переговорах князей между собой и в усилившихся сношениях с иноземными государствами развивалось искусство речи послов.

Влияние этой устной речи на литературу письменную не ограничивалось только исходными годами письменности. Оно было постоянным, крепло с годами, формировало язык письменности и служило неиссякаемым источником художественных образов, навыков простоты и лаконизма.

Сама устная речь не была неизменной. В XI—XII вв. в обиход общества входит густым потоком феодальная терминология. Развитие военного искусства сказывается на усложнении военной терминологии. Усложняются вопросы внутренней дипломатии, а с ними вместе усложняется и терминология, принятая в посольских переговорах. Развитие устного языка и письменного идет параллельно, оба влияют друг на друга, оба оказываются под всепоглощающим воздействием действительности, изменения форм общественной жизни.

Совершенно естественно, что влияние устной речи на письменную сказалось прежде всего на тех произведениях письменности, которые были посвящены русской действительности.

С особенной силой это воздействие устной речи сказалось в летописи. По летописи, главным образом, мы и можем судить об устной речи XI—XIII вв. В самом деле, именно летопись сберегла для нас многочисленные образцы устной речи XI—XIII вв. Этому способствовало особое отношение летописцев к тем элементам устной речи, которые они включали в свои записи.

Древняя русская письменность XI—XIII вв. почти не знает косвенной речи. Слова действующих лиц повествования, за редкими исключениями, передаются в форме прямой речи. Следовательно место, занимаемое прямой речью в древне-русском повествовании, уже в силу одного этого должно было быть и больше, и значительнее, чем впоследствии. Это не значит, однако, что, стесненный грамматическими трудностями, древне-русский автор пользовался прямой речью вместо косвенной, не задумываясь над особенностями прямой (устной) речи как таковой. Ощущение „документальности“ приводимой прямой речи было у древне-русского автора весьма отчетливым. Это в особенности касается древне-русского летописца. И к предшествующему тексту летописи, который летописец использовал в своем летописном своде, и к самой действительности, которую он описывал, летописец относился как к документу. Ни произвольных добавлений в фактическую часть летописного рассказа, ни необоснованных утверждений летописцы, работавшие в XI—первой половине XV вв., как правило, не допускали.¹

И это, в особенности, относилось к прямой речи. Воспроизводя прямую речь, летописец стремился более или менее точно передать ее на основе предшествующей летописи, на основании того фольклорного произведения, которое он передает в летописи, или так, как она была произнесена или могла быть произнесена в действительности. Летопи-

¹ См. подробнее: Д. Лихачев. О летописном периоде русской историографии. Вопр. ист., 1948, № 9, стр. 28 и сл.

сец стремился к точному воспроизведению действительности, почти не прибегая к помощи фантазии и домыслов.

Вот почему в летописи мы можем встретить следующие типы прямой речи:

1) Чаще всего летописец вносит в свою летопись жизненно-реальную речь, воспроизводит действительно произнесенную речь как документ, по возможности не изменяя ее.

2) С другой стороны, прямая речь в летопись вносится на основании фольклорного произведения; в этом случае она отражает особенности фольклорной прямой речи.¹

3) Наконец, прямая речь вставлена в летопись вместе с отрывком житийного произведения (напр. „Сказания о Борисе и Глебе“); в такой прямой речи может ощущаться сильный налет книжности: речи святого пересыпаны цитатами из молитв и псалмов — они по большей части не воспроизводят действительно произнесенные речи, а служат религиозно-нравственным целям.

Чисто литературные функции прямой речи, употребленной, скажем, для оживления действия, для характеристики действующего лица, для раскрытия его намерений и т. п. были неизвестны летописцам до конца XV в. Вернее, летописцы чуждались именно такого использования прямой речи, так как это внесло бы в их „своды“ элемент вымысла.² Это не значит, конечно, что в произведениях древне-русских летописцев не было вымысла: летописец был чужд подлинного реализма, принимая за реально бывшее рассказы о чудесах, знаниях, явлениях и т. п. Но этот вымысел не вводился им в свои летописи сознательно, — летописец верил в существование в прошлом всего того, что он рассказывал.

Вот почему в летописи прямая речь, по большей части, занимает одно из центральных мест. Если прямая речь внесена в летопись не из другого книжного или фольклорного произведения, а записана в ней самим летописцем, то она всегда значительна по содержанию. Приводимые слова по большей части исторически важны. Их произносят не безымянные лица, а лица исторические. Слова эти важны как часть самой действительности. Они не подчинены литературным функциям, они вводятся не для „оживления“ повествования, не для его „торможения“, не для раскрытия мыслей и намерений действующих лиц, а потому, что они важны по своему историческому содержанию. Элемент „сочиненности“ сведен в летописи до минимума. Летопись — прежде всего историческое произведение и прямая речь в ней — также исторична и документальна.

Вот почему в летописи прямая речь резко отличается в лексическом отношении и в своей художественной манере от остальной чисто повествовательной части летописи. В первой — летописец зависит по преимуществу от самой устной речи, которую он и стремится воспроизвести во всей ее неприкосновенности. Во второй — влияния чисто книжные гораздо сильнее.

Этим обстоятельством обуславливается особенная ценность показаний прямой речи летописи (но преимущественно той, которая записана летописцем, а не привнесена им из фольклора или из произведений

¹ О фольклорном диалоге в летописи см. сообщение в книге „Русские летописи“, 1948, стр. 132 и сл.

² Об отрицательном отношении летописцев ко всякого рода вымыслу см. мою статью „О летописном периоде русской историографии“, Вопр. ист., 1948, № 9, стр. 23—24.

шитийных) для установления особенностей устной речи своего времени и ее культуры.

В самом деле, вот перед нами новгородская Повесть о взятии Царьграда фрягами, включенная в Новгородскую первую летопись под 1204 г. Повесть эта, как уже отмечалось в научной литературе, написана новгородцем — очевидцем царьградских событий 1204 г.¹ Она написана точно и реально, но само собой разумеется, что греческая прямая речь действующих лиц не могла быть в ней записана с абсолютной точностью. Она передана в русском переводе — по смыслу. Любопытно, однако, что эта передача по смыслу сделана в формах устной русской речи.

Составитель Повести о взятии Царьграда фрягами живо отличает особенности устной речи от письменной и переводит греческую устную речь в типичных формах устной же речи. Живое ощущение устной речи не изменяет ему и здесь (ср., например, типичные для русского воинского ораторства слова фрягов: „да лучше ны есть умрети у Царьграда, нежели с срамомъ отъити“²). Вот почему и в других случаях в летописи прямая речь постоянно соответствует традициям устной речи, а не письменной — вне зависимости от того, передает ли она действительно произнесенные речи или только те, которые по предположениям летописца должны были быть произнесены.

* * *

Отношение к прямой речи как к своего рода документу, как к чему-то реально-произнесенному и значительному в своей историчности позволило частично сохранить в этой прямой речи летописи образную, художественную систему устной речи, которой в собственном книжном изложении, в изложении от своего лица, летописец очень часто чуждался как простой, „некнижной“. В самом деле, летописец опасался вводить в изложение от своего лица художественные приемы речи устной, делал это в ограниченных размерах, с разбором и выбором. Характерна в этом отношении оговорка, с помощью которой вводится им в летопись один из образов устной, обыденной речи. Летописец пишет: „В то же лето бысть буря велика, ака же не была николи же, около Котельница, и разноси хоромы и товар и клети и жито из гумен, и спроста рещи яко рать взяла“ (Ипатьевск. лет. под 1143 г.). Следовательно введение образа из устной речи в изложение от своего лица иногда вызывало даже в летописце необходимость оговорки, своеобразного „извинения“ перед читателем. Образ устной речи отчетливо осознавался как „не книжный“, „простой“. Совсем иное отношение у летописца к подобного рода образам, когда он передает их в чужой речи — в прямой речи действующих лиц его повествования. Прямая речь снимает как бы с него ответственность за ее „простоту“, которую он по книжной средневековой традиции считал предосудительной. Это — документ и здесь можно сохранять, следовательно, все особенности прямой речи во всей их неприкословенности. И действительно, в прямой речи действующих лиц летописного повествования мы встречаем удивительное богатство творческой фантазии самого народа, ничем не сдерживаемый поток образной, лаконичной и удивительно выразительной живой устной русской речи. Повторяем:

¹ История русской литературы. Изд. Инст. литер. АН СССР, т. I, М.—Л., 1941, стр. 303 (В. П. Адрианова-Перетц).

² Новгородская летопись по Синодальному списку, СПб., 1888, стр. 184.

и в лексическом, и в грамматическом, а главное в стилистическом отношении прямая речь в летописи резко отлична от всего остального повествования летописца.

Приведем несколько примеров образной устной речи, отраженной в летописи. Прямая речь насыщена сравнениями. Вот, например, сравнение неумолимо надвигающейся вражеской рати с падающим деревом: „И реша прузи ятвягем: «Можете ли древо поддръжати сулицами, и насию рать деръзнути?»“ (Ипатьевск. лет. под 1252 г.). Или вот сравнение далеко зашедшой в чужие пределы рати с рыбами, оказавшимися на суше. Юрий Борисович говорит через послов Мстиславу Удалому перед Липецкой битвой: „Мира не хотем, а мужи у мене; а далече есте шли, и вышли есте акы рыбы на сухо“ (Новг. I лет. по Синод. сп., СПб., 1888, под 1216 г., стр. 202).

Особенно часто встречается в прямой речи метонимия. Ею буквально насыщена прямая речь летописи. Рогнеда говорит Рогволоду, отказываясь выйти замуж за „робичича“ Владимира: „Не хочу розути робичича“, разумея под „разуванием“ — русский свадебный обряд, частью которого являлось разувание сапога мужа новобрачной; или известная метонимия из речи Вячеслава Киевского: „Аз уже бородат, а ты ся еси родил“ (Ипатьевск. лет. под 1151 г.).

Часть метонимий постоянно повторяется в летописи, различаясь лишь употреблением. Такова, например, метонимия „голова“ вм. „человек“: „не идеть место к голове, но голова к месту“ (Ипатьевск. лет. под 1151 г.); „а нам лучше в чюжю голову, нежели в свою“ (Ипатьевск. лет. под 1169 г.); „зане сын твой ловить головы моей всегда“ (Ипатьевск. лет. под 1169 г.); „а он головы твои ловить“ (Лаврентьевск. лет. под 1177 г.); „добыл есми головою своею Киева и Переяславля“ (Ипатьевск. лет. под 1148 г.).

Такова же метонимия „ножь“ или „мечь“ вм. война, усобица, военные действия. Ср., например, слова, переданные Мономахом Давыду и Олегу Святославичам по поводу ослепления Василька Теребовльского: „Поидета к Городцу, да поправим сего зла, еже ся створи се в Русской земли и в нас, в братъи, оже ввержен в ны ножь...“ (Лаврентьевск. лет. под 1097 г.). Это выражение подхватывают Олег и Давыд, посылая к Святополку Изяславичу: „Что се зло створил еси в Русьстей земли, и ввергл еси ножь в ны“ (Лаврентьевск. лет. под 1097 г.). Вместо слова „ножь“ в Тверском сборнике здесь стоит „мечь“.

На метонимии же построена и большая часть терминов военных и феодальных: „рука“ — власть, могущество; „стяг“ — полк; „весь на конь“ — отправиться в поход и т. п.

Особенно оживляют устную речь неожиданные и смелые предположения, скрытая ирония, гиперболы.

Характерна в этом отношении речь Владимира Васильковича Волынского, которого мы можем охарактеризовать, на основании того немногого, что нам сохранила из его речей летопись, как большого мастера русской разговорной речи.

Вот, что, например, говорит Владимир Василькович Мстиславу Даниловичу, начавшему еще до смерти Владимира распоряжаться его наследством: „Брате! ты мене ни на полону ял, ни копьемъ мя еси добыл, ни из городов моих выбил мя есь, ратью пришед на мя, оже сяко чиниши надо мною“. Дозволяя своей жене делать после своей смерти все, что ей заблагорассудится, Владимир Василькович так мотивирует это свое решение: „Мне не воставши [из гроба] смотрить, что

что иметь чинить по моему живо^те [т. е. после моей смерти]“. В ответ на просьбу Юрия Львовича дать ему в наследство Берестье умирающий Владимир Василькович вытащил из своей постели пук соломы, показал ее своему слуге Ратьше, которого посыпал к Мстиславу Даниловичу, и произнес: „Хотя бых, ти, — рци, — брат мой, тот вехоть соломы дал, того не давай по моему живо^те никому же“.

Конкретность и образность характерны и для речи новгородцев. Когда Мстислав, изменив Новгороду, попытался затем в 1177 г. вернуться в Новгород, новгородцы сказали ему: „ударил еси пятою Новгород... чему к нам идеши“ (Лаврентьевск. лет. под 1177 г.). Когда Вячеслав, Изяслав и Ростислав выходили из Киева против Юрия Долгорукого, киевляне говорили им, собираясь выступить все вместе: „Ать же поидут вси, како можетъ и хлуд (хлыст. — Д. А.) в руци взяти; паки ли кто не пойдетъ, нам же и дай, ать мы сами побьемъ“ (Ипатьевск. лет. под 1151 г.).

Особым лаконизмом, выработанностью формул, отчетливостью и образностью отличались речи, произносившиеся на вечевых собраниях. Несомненно, что вече выработало свои формы обращения к массе, умение сжато и энергично выразить политическую программу в легко доступной и легко запоминающейся формуле. Образность и пословичность отличает эти вечевые обращения. В ответ на зов Мстислава Мстиславича пойти на Киев против Всеволода Чермного новгородское вече отвечало ему: „Камо, княже, очима позриши ты, тамо мы главами своими вържем“ (Новгор. I, Синод. сп., 1214 г.). Так же энергична и речь посадника Твердислава на новгородском вече: „Даже буду виноват, да буду мертв; буду ли прав, а ты мя оправи, господи“ (Новг. I лет. по Синод. сп. под 1218 г.).

Летопись донесла до нас много речей, произносившихся послами. По самому своему содержанию эти речи послов были гораздо более разнообразны и сложны, чем речи воинские и даже вечевые. В них меньше традиционных формул, шаблонных оборотов. Вместе с тем они легко заимствуют отдельные формулы из практики иной устной речи — вечевой, воинской, даже разговорной. Однако чем сложнее были задачи, ставившиеся дипломатическому языку, тем более блестяще они разрешались.

Прежде всего поражает своеобразный образный лаконизм посольских речей: „Оже есте мой Городецъ пожги и божнице, то я ся тому отъожгу противу“, — говорит Юрий Долгорукий через послов Святославу Ольговичу (Ипатьевск. лет. под 1152 г.). Юрий Всеволодович следующим образом формулировал свое требование, переданное через новгородских послов: „Выдайте ми Якима Иванковиця, Микифора Тудоровиця, Иванка Тимошкиниця, Сдилу Савиниця, Вячка, Иванца, Радка; не выдадите ли, а я поил есмь коне Тыхверью, а еще Волховомъ напою“ (Новг. I лет. по Синод. сп. под 1224 г.).

Особенное значение в устной речи имела всегда выразительная антитеза: „Да аще (вам) любо, да седита, аще ли ни, да пусти Василка семо“ („Повесть временных лет“, 1100 г.); „А поиди, а мы с тобою, не идеши ли, а мы есмь в хрестьном целовании правы“ (Ипатьевск. лет. под 1148 г.); „Годно ти ся с ним (Юрием) умирить — умиришися, паки ли а рать зачнеши с ним“ (Ипатьевск. лет. под 1154 г.); „Аще ты ратен — си ратни же, аще ты мирен, а си мирни же“ (Лаврентьевск. лет. под 1186 г.) и т. д.

Не следует думать, что система художественных средств устной речи была каждый раз плодом индивидуальной изобретательности.

В дальнейшем мы увидим, что она в сильнейшей степени зависела от самой действительности, от воинской, феодальной символики и этим объясняется ее относительная устойчивость.

В Ипатьевской летописи сказано: „Всеволод же толма бившеся, яко и оружья в руку его не доста“ — это говорится о Всеволоде буйтуре, брате Игоря Святославича в описании знаменитой битвы Игоря на реке Каяле (Ипатьевск. лет. под 1185 г.).

Тот же художественный образ находим мы спустя столетие в Повести о разорении Рязани Батыем: „Еупатию тако их бываще нещадно, яко и мечи притупишася, и емля татарская мечи и сечаша их“ (список Библ. им. Ленина, Волоколамск. 526, XVI в.).

Привычка к конкретному мышлению сказывается во многих из „речей“ летописи. „Брате! — говорит Мстислав Изяславич Владимиру Мстиславичу Дорогобужскому, — хрест еси целовал, а и еще ти ни уста не осхла“ (Ипатьевск. лет. под 1169 г.). Сходный образ находим мы спустя сто лет в летописи волынской уже не в прямой речи, а в повествовании самого летописца: „Лев же убояся того (угрозы татарского нашествия. — Д. Л.) велми, и еще бо ему не сошла оскомина Телебужины рати“.

Устная речь оказывает постоянное воздействие на речь древнерусского автора. Она постепенно входит в письменность через прямую речь и остается в речи авторской. Замечательный пример тому — произведения Мономаха. „А бога деля, — просит Владимир Мономах Олега Святославича, — пусти ю ко мне вборзе с первым сломь, даже с нею кончав слезы, посажю на месте, и сядеть аки горлица на суседреве желеючи...“ (Лаврентьевск. под 1096 г., стр. 244). Или другой пример из тех же сочинений Мономаха: „И ехахом сквозе полки половьческие, не в 100 дружине, и с детми и с женами. И облизахутся на нас аки волци стояще...“ (Лаврентьевск. под 1096 г., стр. 240).

Влияние устной речи на произведения Владимира Мономаха сказывается не только в заимствовании из нее художественных образов, но и в самом построении фраз: „Дивно ли, оже мужь уиерл в полкути?“; „аще ли лжю, а бог мя ведает и крест честный“; „оли то буду грех створил, оже на тя шед к Чернигову, поганых деля, а того ся каю“ и т. п. „Поучение“ Мономаха как бы рассчитано на произнесение вслух. Возможно, что Мономах его диктовал, или, когда писал, представлял себя произносящим его.

Однако самый яркий пример связи языка письменности с устной речью дает „Слово о полку Игореве“.

* * *

• Образная устная русская речь XI—XII вв. во многом определила собой поэтическую систему „Слова о полку Игореве“.

Нельзя думать, что между обыденной речью и речью поэтической лежит непреодолимая преграда. Качественные различия обыденной речи и поэтической допускают все же переходы обыденной речи в поэтическую и не отменяют наличия художественной выразительности в речи обыденной, каждодневной, прозаической и деловой. По большей части эта художественная выразительность в обыденной речи служит подсобным целям, оттеснена на второй план, но она, тем не менее, ярко

ощущается и окрашивает язык XI—XII вв. с большей или меньшей интенсивностью.

Важно отметить, однако, что поэтическая выразительность того или иного слова, выражения находится в тесной зависимости от поэтической выразительности того конкретного явления, с которым оно связано. Язык и действительность переплетались в средневековой Руси особенно тесным образом. Эстетическая ценность слова зависела в первую очередь от эстетической ценности того явления, которое оно обозначало и, вместе с тем, самое явление, с которым это слово было связано, воспринималось как явление общественной жизни, в тесном соприкосновении с деятельностью человека. Вот почему, в древней Руси мы обнаружим целые крупные явления жизни, которые служили неиссякаемым родником поэтической образности. В них черпал свою поэтическую конкретность древне-русский устный язык, а с ним вместе и древне-русская поэзия. Земледелие, война, охота, феодальные отношения, — то, что больше всего волновало древне-русского человека, то в первую очередь и служило источником образов устной речи. *

Замечательно, что все привлекаемые и вводимые автором „Слова“ образы имеют идейную задачу. Эстетический и идеологический момент в образе не отделимы в „Слове о полку Игореве“ и в этом одна из его особенностей, как и всякого подлинно художественного произведения.

В самом деле, обычные образы народной поэзии, заимствованные из области земледелия, входят не только в художественный замысел автора „Слова“, но и в идейный.

Образы земледельческого труда всегда привлекаются автором „Слова“ для противопоставления войне. В них противопоставляется созидание разрушению, мир — войне. Благодаря образам мирного труда, пронизывающим всю поэму в целом, она представляет собой апофеоз мира. Она призывает к борьбе с половцами для защиты мирного труда в первую очередь: „тогда при Олзѣ Гориславличи съяшется и растяшеть усобицами, погибашть жизнь Даждьбожа внука“; „тогда по Руской земли рѣтко ратаевѣ кикахуть, нѣ часто врани гряхуть, трупна себѣ дѣляче, а галици свою рѣчь говоряхуть, хотять полетѣти на уединѣ“; „чрѣна земля подъ копыты костьми была посѣяна, а кровию польяна: тugoю взыдоша по Руской земли“; „на Немизѣ снопы стелютъ головами, молотятъ чепи харалужными, на тоцѣ животъ кладутъ, вѣютъ душу отъ тѣла. Немизѣ кровави брезѣ не бологомъ бяхутъ посѣяни, посѣяни костьми рускихъ сыновъ“.

В этом противопоставлении созидающего труда — разрушению, мира — войне автор „Слова“ привлекает не только образы земледельческого труда, свойственные и народной поэзии (как это неоднократно отмечалось), но и образы ремесленного труда, в народной поэзии отразившиеся гораздо слабее, но как бы подтверждающие открытия археологов последнего времени о высоком развитии ремесла на Руси: „тѣй бо Олегъ мечемъ крамолу коваше и стрѣлы по земли съяше“; „и начяша князи... сами на себѣ крамолу ковати“; „а князи сами на себе крамолу коваху“; „ваю храбрая сердца въ жестоцемъ харалузѣ скована, а въ буести закалена“.

Поразителен по наглядности образ ковки крамолы мечом, — на нем мы еще остановимся в дальнейшем, сейчас же отметим, что это противопоставление мира войне пронизывает и другие части „Слова“. Автор „Слова“ обращается к образу пира, как апофеоза мирного труда:

„ту кровавого вина не доста; ту пир докончаша храбрии Русичи: сваты попоиша, а сами полегоша за землю Русскую“. С поразительной конкретностью противопоставляя русских их врагам, он называет последних „сватами“: Игорь Святославич, действительно, приходился „сватом“ Кончаку (дочь Кончака была помолвлена за сына Игоря — Владимира).¹ Отсюда следует, что образ пира-битвы не просто „заимствован“ из фольклора, где он обычен, а умело осмыслен применительно к данному конкретному случаю. Той же цели противопоставления мира войне служат и женские образы „Слова о полку Игореве“ — „Ярославна“ и „красная Глебовна“.

Перед нами, следовательно, целая политическая концепция автора „Слова о полку Игореве“, в которую, как часть в целое, входят традиционные образы устной речи: „битва — молотьба“, „битва — пир“ и т. д.

Итак, автор „Слова о полку Игореве“ углублял, развивал старые образы, раскрывал их значение, детализировал их, заставлял читателя ярко почувствовать их красоту. Он брал то, что уже было в русском поэтическом языке, брал общее, а не случайное, брал укоренившееся.

Откуда же берет автор „Слова о полку Игореве“ эти привычные формы? — здесь и фольклор, но здесь и образная система деловой речи, образы, легшие в основу военной лексики и лексики феодальной. Автор „Слова о полку Игореве“ поэтически развивает существующую образную систему деловой речи и существующую феодальную символику.

Деловая выразительность превращается под его пером в выразительность поэтическую. Терминология получает новую эстетическую функцию. Он использует богатства русского языка для создания поэтического произведения, но это поэтическое произведение не вступает в противоречие с деловой прозой, а, наоборот, вырастает на ее основе. Автор „Слова“ дает ей только иную функцию. Образы, которыми пользуется „Слово“, никогда не основываются на внешнем сходстве. Они не являются плодом индивидуального изобретательства автора. Автор „Слова“ не создает совершенно новых эстетических связей, не устанавливает совершенно новых метафор, метонимий, эпитетов на основе меткого нахождения новых эстетических соответствий.»

Образы, которыми пользуется автор „Слова“, вырастают на основе реально существующих отношений в жизни. Его художественные символы строятся на основе феодальной символики его времени, отчасти уже запечатленной в языке. Художественное творчество автора „Слова“ состоит во вскрытии того образного начала, которое заложено в устной речи, в специальной лексике, в символике феодальных отношений, в действительности, в общественной жизни и в подчинении этого образного начала определенному идейному замыслу.

Автор „Слова“ отражает жизнь в образах, взятых из этой самой жизни. Он пользуется той системой образов, которая заложена в самой общественной жизни и ограждалась в речи устной, в лексике феодальной, военной, земледельческой, в символическом значении самых предметов, а не только слов их обозначавших. Образ, заложенный в „термине“, он превращает в образ поэтический, подчиняет его идейной структуре всего произведения в целом. И в этом последнем, главным образом, и проявляется его гениальное творчество.

Вот почему и поэтическая понятность „Слова“ была очень высока. Новое в ней вырастало на многовековой культурной почве и не было

¹ Об отношениях родства русских князей и половецких ханов см. выше, стр. 44.

от нее оторвано. Поэтическая выразительность „Слова“ была тесно связана с поэтической выразительностью русского языка в целом.

В этом использовании уже существующих богатств языка, в умении показать их поэтический блеск и значительность и состоит один из элементов народности поэтической формы „Слова“. „Слово“ неразлучимо с культурой русского языка в целом, с деловой речью, с образностью военной, феодальной, охотничьей, трудовой лексики, а через нее и с русской действительностью. Автор „Слова“ прибегает к художественной символике, которая в русском языке XI—XII вв. была тесно связана с символикой феодальных отношений, даже с этикетом феодального общества, с символикой военной, с бытом и трудовым укладом русского народа. Привычные образы получают в „Слове о полку Игореве“ новое звучание. Можно смело сказать, что „Слово“ приучало любить русскую обыденную речь, давало почувствовать красоту русского языка в целом; вместе с тем, поэтическая система „Слова“ выразилась на почве русской действительности. *

Обратимся к раскрытию этой поэтической системы „Слова“ на конкретных примерах.

II

Остановимся прежде всего на военной терминологии „Слова“ и на тех образах, которые из этой терминологии выросли в „Слове“.

Русский язык XI—XIII вв. имел разветвленную и обильную терминологию, связанную с особенностями военного быта того времени. Эта терминология создавалась постепенно по мере усложнения самого военного обихода. В создании ее участвовало творческое, художественное воображение народа. Многочисленность и точность этой терминологии служит одним из важных показателей высоты культуры устного русского языка.

Здесь, в этой военной терминологии XI—XII вв., мы встретим и термины приготовления к выступлению в поход: „возостриться на рать“ (Ипатьевск. лет. под 1174 г.), „доспевать“, „сложиться на рать“, „встать на рать“ („и сложиша Олговичи и Давидовичи и всташа вси на рать“, Лаврентьевск. лет. под 1135 г.), „подостривать кого-либо на рать“, „сложить путь“ („И сложи Изяслав путь с Ростиславом и со Мъстиславом на Гюргя“, Ипатьевск. лет. под 1158 г.).

Здесь и термины выступления в поход: „всесть на конь“, „дерзнуть на врагов“ („дерзнути на половце“, Лаврентьевск. лет. под 1102 г.; „дерзну с дружиною свою и победи поганыя“, Лаврентьевск. лет. под 1125 г.).

Здесь и термины приготовления к бою: „заложиться“ (Лаврентьевск. лет. под 1150 г.), „укреплять на брань“ (Лаврентьевск. лет. под 1151 г.), „скрутиться в броне“ (Лаврентьевск. лет. под 1220 г.), „изнарядить полки“ или „изрядить полки“ (Ипатьевск. лет. под 1174 г. и под 1195 г.).

Здесь и термины, означающие построение полков перед битвой: „крылья“ (Ипатьевск. лет. под 1151 г.), „чело“ (Лаврентьевск. лет. под 1025 г.) и др.

Здесь и термины, означающие различные моменты боя: „поскок“ („под Ростиславом же на первом поскоце лете под ним конь“, Ипатьевск. лет. под 1154 г.), „поткнуть“ („угри... не постряпуче поткнуша по нем“, Лаврентьевск. лет. под 1152 г.), „преломить копье“, „поломить полк“ („сразившиа же ся челома, и тако полониша ляхове полк Шварнов“, (Ипатьевск. лет. под 1268 г.), „вдать плещи“ и мн. др.

Здесь и термины осады и обороны городов: „отвердить город“ (Лаврентьевск. лет. под 1150 г.), „тврдая места“ (укрепленные места: „и поидаша во тврдая места“, Ипатьевск. лет. под 1182 г.), „вбить в город“ („наши же... вбиша я во град“, Лаврентьевск. лет. под 1220 г.), „взять на щит“, „взять копием“ и др.

Здесь и термины обращения с оружием: „потягнуть стрелою“ („и один с города потягнув стрелою, удари в горло“, Ипатьевск. лет. под 1157 г.), „зарезать“ (ножом), „ударить копием“.

Весьма важно отметить, что многие из выражений летописи, считавшиеся литературными трафаретами и „элементами изложения“ воинских повестей,¹ на самом деле являются обычными воинскими терминами, хорошо известными не только в авторской речи летописца, но и в передаваемой им прямой речи.

В самом деле, выражение „на щит“ отнюдь не книжное. Оно имелось и в живой речи. Владимир Галицкий говорит жителям Мичьска („мъчаном“): „дайте ми серебро, что вы яз хочу; паки ли я възму вы на щит“ (Ипатьевск. лет. под 1152 г.). Удостоверением устного происхождения этих слов Владимира Галицкого служит не только их помещение в летописи в форме прямой речи, но и сохранение живых интонаций устной речи.

Вообще следует сказать, что многие из образов в летописных описаниях битв в гораздо большей степени обязаны жизни, чем литературной традиции. Так, например, обычное в русской литературе XI—XVII вв. (а отчасти и в фольклоре) сравнение летящих стрел с дождем обязано своей устойчивостью в литературе несомненно самой действительности, живому употреблению его в устной речи, а не литературной традиции.

В самом деле, сравнение это имеет в виду не ожесточенность боя вообще, а совершенно конкретные случаи: массовое применение стрел — либо в начале боя, когда важно было расстроить сомкнутый строй противника, нарушить его боевой порядок, либо в момент приступа, когда надо было заставить осажденных покинуть забрала. „От подобных осад и остались стрелы, изобилующие... в культурном слое некоторых городов“, — пишет А. В. Арциховский.²

Выпустить по противнику как можно больше стрел в такие моменты было совершенно необходимо. Только к этим моментам „массированной“ стрельбы и применялось сравнение летящих стрел с дождем, с градом, с тучей или для подчеркивания наступившей темноты от стрел: „стрелы омрачиша свет побеженым“ (Ипатьевск. лет. под 1240 г.); „стрелам яко дожду идущу на град их“ (Ипатьевск. лет. под 1245 г.).

Аналогичное сравнение применялось и тогда, когда речь шла не о стрелах, а, например, о камнях, и это показывает, что перед нами не литературные трафареты. „Ляхом же крепко борюще, и сулицами мечуще и головнями, яко молния идяху, и каменье яко дождь с небеси идяше“ (Ипатьевск. лет. под 1251 г.); „ляхове пущауть на ня каменье, акы град сильный“ (Ипатьевск. лет. под 1281 г.). В этом последнем примере нет литературного трафарета, так как вместо стрел — камни, а вместо дождя — град, но весь образ тот же и вызвавшие этот образ приемы боя — те же.

¹ А. С. Орлов. Об особенностях формы русских воинских повестей (кончая XVII в.). Член. в Общ. ист. и древн. росс., М., 1902.

² Русское оружие X—XIII вв. Докл. и сообщ. историч. фак. МГУ, М., 1946, стр. 13.

Совершенно прав А. В. Арциховский,¹ когда пишет в своем исследовании о древне-русском оружии: „В разгаре боя или приступа стрелы сыпались дождем. Это сравнение возникло уже в древней Руси“.² К этому положению мы должны прибавить только следующее: сравнение это возникло не в литературе, а в действительности. В литературу оно пришло из жизни, и устойчивость его поддерживалась устным употреблением, а не литературной традицией. Образ в данном случае породил термин, а термин основывался на образе.

Это родство терминологии и образов мы видим также и в „Слове о полку Игореве“. Оно ярко проступает в выражении „Слова“: „Итти



Перестрелка.

Миниатюра из Радзивиловской летописи: осада Чернигова, л. 195, верх.

дождю стрѣлами съ Дону великаго“. Здесь обычный только что разобранный нами военный термин „обернут“ и превращен в образ. Вместо термина „итти стрелам как дождю“, автор говорит наоборот „итти дождю стрѣлами“ и этим самым обнажает заключенный в термине образ, лишая его характера термина.

Однако в основном, строя свою образную поэтическую систему, автор „Слова“ прибегает не к этому способу. Он пользуется символикой, образами, метонимиями, выработавшимися в действительности, в живой речи, лишь немногими штрихами оживляя их звучание, употребляя их с полною точностью и подчеркивая идейное содержание каждого образа.

¹ Ук. соч., стр. 13.

² Ср. противоположное утверждение А. С. Орлова, считавшего это сравнение „греческой по происхождению формулой“ (О некоторых особенностях стиля великорусской исторической беллетристики XVI—XVII вв. Изв. ОРЯС АН, 1904, кн. 4, стр. 367).

* * *

Целый ряд образов „Слова о полку Игореве“ связан с понятием „меч“: „Олегъ мечемъ крамолу коваше“; Святослав Киевский „бяшеть притрепаль... харапужными мечи“ ложь половцев; Игорь и Всеволод „рано еста начала Половецкую землю мечи цвѣлити“; „половци... главы своя подклониша подъ тыи мечи харапужныи“; Изяслав Василькович „позвони своими острыми мечи о шеломы литовьскыя“, а сам был „притрепанъ литовскими мечи“; обращаясь к ярославичам и всеславичам, автор „Слова“ говорит: „вонзите свои мечи вережени“.

Такое обилие в „Слове о полку Игореве“ образов, связанных с мечом, не должно вызывать удивления. С мечом в древне-русской жизни был связан целый круг понятий. Меч был прежде всего символом войны. Ср., например, в Новгородской первой летописи: „Что есмы зашли Водь, Лугу, Пльсков, Лотыголу мечемъ, того ся всего отступаем“ (Новг. I лет. по Синод. сп. под 1242 г.). Кроме того, „обнажить мечь“ означало „открыть военные действия“, „напасть“. С другой стороны, меч был эмблемой княжеской власти. Это особенно ярко сказалось в рассказе Лаврентьевской летописи о том, как Всеволод Большое Гнездо отправлял в Новгород своего сына Константина: „И да ему отец крест честны и меч, река: се ти буди охраньник и помощник, а меч прещене и опасенье, аже ныне даю ти пасти люди своя от противных“ (Лаврентьевск. лет. под 1206 г.). Меч и оружие были, вместе с тем, и символами независимости („присла... мечь и покорение свое“ Ипатьевск. лет. под 1255 г.; или: „Данилу же королеву ставшу в дому Стекинтове, принесе к нему Лев оружье Стекиново и брата его, и обличи победу свою“ Ипатьевск. лет. под 1255 г.).

Наконец, меч был символом русского народа (в рассказе „Повести временных лет“ о дани, собирающейся хозарами с русских мечами, и в рассказе об обмене подарками между русским воеводой Претичем и печенежским князем). Меч был священным предметом. На мечах клялись русские при заключении договоров с греками (911 и 944 гг.). Этот культ мечей перешел и в христианскую эпоху. „Мечи тех князей, которые причислялись к святым, — пишет А. В. Арциховский, — сами становились предметами культа. Уже Андрей Боголюбский имел при себе меч Бориса (1137 г.); летопись прямо говорит: «и поставиша над ним его меч, иже и доныне стоит, видим всеми». Меч Всеволода до сих пор показывают во Пскове...“.¹ Меч употреблялся высшими дружиликами и князем. Он был оружием феодальной аристократии по преимуществу. Любопытно, что его не поднимали против смердов. Новгородский князь Глеб поднял на восставших в Новгороде топор, а не меч (1071 г.); топором же расправлялся с восставшими и Ян Вышатич на Белоозере (1071 г.).

Вот почему все образы „Слова“, связанные с мечом, полны сложного и глубокого значения, объясняемого многозначностью, смысловой насыщенностью слова „меч“.

„Вонзите свои мечи вережени“ — призывает русских князей автор „Слова“, иначе говоря: „прекратите военные действия, в которых вы — обе стороны (и ярославичи, и всеславичи) — потерпели поражение“. „Половцы главы своя подклониша под тыи мечи харапужныи“ —

¹ А. В. Арциховский. Русское оружие X—XIII вв. Докл. и сообщ. истор. фак. МГУ, вып. 4, 1946, стр. 10.

И въ зорти сѧ къ вѣдѣнію:



Полѣтъ понаеми чалко. ю бѣлъ вѣголомъ на градъ

Меч — символ княжеской власти.

Миниатюра из Радзивиловской летописи: посажение князя в Переяславле, л. 221

споглава. и послѣ сї споглава исѣмъ:



Меч — символ княжеской власти.

Миниатюра Радзивиловской летописи: Всеволод Юрьевич Суздальский отправляет сына Святослава княжить в Новгород, л. 171, верх.

и по гла проти вѣй борѣ. са бо ла дѣми. въ мѣ болютии и сокчамъца

сюла ей рѣ



оа

Меч — символ власти над войском.

Миниатюра из Радзивиловской летописи: Владимир Святославич отправляет Бориса во главе войска против печенегов, л. 73, низ.

ща. на сола ишина рецѣ спѣчи и гово ломъ, —



не скопиша бниши ю бо и залмъ. вѣ вонял гѣ прѣтире кы

Против народа поднята дубина, а не меч.

Миниатюра из Радзивиловской летописи: князь Глеб с полоном, л. 224, об., верх.



Меч, поднятый рукоятью вверх, — символ сдачи.

Миниатюра из Радзивиловской летописи: волжские болгары берут Муром, л. 120 об., верх.



Вкладывание меча в ножны — символ прекращения военных действий.

Миниатюра Радзивиловской летописи: Ярослав садится в Киеве, л. 83, верх.

и здесь слово „мечи“ употреблено во всем богатстве его значений: повержены половцы мечом войны и мечом власти. „Подклонить головы под меч“ — означает одновременно и быть раненными, и быть покоренными.

Но особенно интересно применение слова „меч“ во фразе: „Олегъ мечемъ крамолу коваше“. Выражения „ковать ложь“, „ковать лесть“ обычны в древне-русской письменности: „неведый лесть, юже коваше нань Давыд“ (Ипатьевск. лет. под 1097 г.); „не преподобно бо есть ковати ков на брата своего“.¹ Автор „Слова“ конкретизирует это выражение тем, что вводит в него понятие меча, которым Олег кует „ложь“, „лесть“ — „крамолу“. В этом гениальном образе ковки кра-



Посадничий посох — символ горожан.

Миниатюра Радзивиловской летописи: киевский князь созывает киевлян, л. 178.

молы мечом воплотилось то же противопоставление мирного труда войне, что и в обычном для „Слова“ образе битвы-жатвы, но с предельным лаконизмом, причем вся богатая семантика слова „меч“ вложена в этот образ: Олег злоупотребил своею властью — „мечем“, куя им крамолу; он ковал крамолу „мечем“ — междуусобной войной; каждый взмах меча Олега как молотом усиливал, „ковал“ эту крамолу, укреплял ее; и само употребление священного меча для крамолы выступает как „святотатство“. Множество ассоциаций ковки и войны встает в этом образе: крамола раскалена, как железо на наковальне, поле битвы — наковальня (ср. „притрапан литовскими мечи... на кров“) и т. д.

Это не означает, что автор „Слова“ вложил все эти значения в свой образ, но это значит, что все эти ассоциации имеют силу

¹ Паремийное чтение о Борисе и Глебе. Жития Бориса и Глеба, под ред. Д. И. Абрамовича, Пг., 1916, стр. 117.

в этом образе. И вместе с тем автор „Слова“ не „выдумал“ свой образ. Он в новом гениальном сочетании употребил тот образ, который уже находился в обыденной речи того времени, в символике общественных отношений XII в.

* * *

Наряду с мечом важное значение в „Слове о полку Игореве“ имеет и стяг.

Стягами и хоругвями в древней Руси подавали сигналы войску. В битве с их помощью управляли движением войск. „Взволоченный“



„Пониженный“ стяг — символ поражения.

Миниатюра Радзивиловской летописи: поражение на Льте, л. 97 об.,низ.

стяг служил символом победы, поверженный стяг — символом поражения, отступления, бегства. „К стягу собирались дружины после победы или поражения (если их преследовали); стяг был важнейшим ориентиром среди тысяч разнообразных шлемов и панцирей. По положению стягов определяли положение войск, расстановку сил“.¹

Приведем примеры именно такого употребления стягов: „нашимъ же ставшим межи валома, поставиша стяги свои, и поидоша стрелци из валу; и половци, пришедшe к валови, поставиша стяги своя“ (Лаврентьевск. лет. под 1093 г.); „Ростиславу же и Борисови и Мстиславу не ведущим мысли брата своего Андрея, яко хощеть ткнуть на пешие, зане и стяг его видяхуть не възволочен“ (Лаврентьевск. лет. под 1149 г.); „Мстиславичи же не доехавше повергша стяг“ (Ипатьевск. лет. под 1177 г.).

Хоругвь или стяг служили знаком того или иного князя или даже всей Руси в целом (в сражениях с иноземцами): „и видящим стяги

¹ История культуры древней Руси, т. I. 1949, стр. 413.

отца своего...“ (Лаврентьевск. лет. под 1149 г.); „половци же видивше стяги Ростиславли“ (Ипатьевск. лет. под 1191 г.); „аще Руская хоруговь станеть на заборолех, то кому честь учиниши?“ (Ипатьевск. лет. под 1229 г.); „Даниил... прозревъ же семь и семь и види стяг Василков“ (Ипатьевск. лет. под 1231 г.) и т. д.

Стягом и хоругвью подавали обычно боевой знак: в 1146 г. киевляне посыпали к Изяславу Мстиславичу со словами: „Ты нашъ князъ, поеди, Ольговичев не хочем быти аки в задничи; кде узрим стяг твой, ту и мы с тобою готови есмъ“ (Ипатьевск. лет. под 1146 г.); в 1159 г. галичане посыпали к Ивану Берладнику, „веляче ему всести на коне, и темъ словом поущивають его к собе, рекуче: толико явишъ стяги, и мы отступим от Ярослава...“ (Ипатьевск. лет. под 1159 г.); в 1254 г. Даниил Романович, взяв чешский город Опаву, „постави хоруговь свою на граде и обличи победу“ (Ипатьевск. лет. под 1254 г.).

Стяг был символом чести, славы. Не случайно Давыд Ростиславич говорит об умершем Владимире Андреевиче: „того стяг и честь с душою исшла“ (Ипатьевск. лет. под 1171 г.).

Все эти значения слова „стяг“, вернее реальную действенность самих стягов в древне-русском военном обиходе, следует учитывать и при толковании соответствующих мест „Слова о полку Игореве“. В самом деле, что означает обращение автора „Слова“ к потомству Ярослава и Всеслава: „Уже понизите стязи свои“. Понизить, повергнуть или бросить стяг имело лишь одно значение — признание поражения. И значение этого призыва „понизите стязи свои“, т. е. признаите себя побежденными, — поддерживается и дальнейшими словами автора: „вонзите свои мечи вережени. Уже бо выскочисте изъ дѣней славѣ“. Автор этим своим обращением к ярославичам и всеславичам хочет указать им на бесмысленность и пагубность для обеих сторон междоусобных войн; в них нет победителей: „обе стороны признаите себя побежденными, вложите в ножны поврежденные в междоусобных битвах мечи; в этих битвах вы покрыли себя позором“.

То же значение — поражения — имеет и выражение „третьяго дни къ полуоднию падоша стязи Игоревы“. Это даже не образ — здесь это военный термин, но термин, употребленный в поэтическом контексте и здесь, в этом поэтическом контексте, обновивший лежащий в его основе образ. Стяги Игоря падают — это реальный знак поражения: падают реальные стяги. Но указание на этот факт знаменательно — оно лаконично и образно указывает на поражение Игорева войска.

Следовательно в основе этого выражения лежит не литературный образ, а реальный факт, но факт сам по себе „говорящий“, символика военного обихода.

Отсюда нетрудно понять и выражение „Слова“ „стязи глаголют“: „стяги свидетельствуют“ о том, что половцы двигаются в боевом порядке (под стягами) на русских. Это значение поддерживается всем контекстом, в котором употреблено это выражение „стязи глаголют“. „Слово о полку Игореве“ говорит здесь о движении половцев, последовательно описываемом сперва издали, а затем все ближе и ближе. Сперва только приметы и предчувствия появления половцев: „ту ся колиемъ приламати, ту ся саблямъ потручати“. Затем в рассыпном строю первыми появляются стрелки, начинающие, как обычно в XI—XIII вв., бой издали. Это начало боя ассоциируется, одновременно, с началом грозы (образы „Слова“ многозначны, насыщены различными ассоциациями): „се вѣтри, Стрибожи внуди, вѣютъ съ моря

стрѣлами на храбрыя пльки Игоревы“. Затем земля начинает гудеть под копытами конного войска: „земля тутнетъ“.¹ Новый момент наступления половцев: степные реки взмутнены от переходящего вброд конного войска половцев: „рѣки мутно текуть“. Пыль от движения войска покрывает поля: „пороши поля прикрывають“. Вот видны уже и стяги, указывающие („глаголющи“), что половцы идут в боевом порядке, „под стягами“. Вот уже половцы окружили русских: „половци идутъ отъ Дона, и от моря, и отъ всѣхъ странъ Руския пльки остушиша“. Наконец, половцы настолько близки, что слышен и их „клик“, которым они „перегородили“ поля. После этого автор „Слова“, все время устремлявший внимание читателя к приближающемуся войску половцев, с тем, чтобы заставить его пережить самому неуклонное наступление врага, короткой фразой обращает внимание читателя к русскому войску: „а храбрии Русици преградиша чрълеными щиты“.

Итак, „говорить“ о наступлении половцев могли только стяги половцев, а не русских. Автор „Слова“ последовательно описывает наступление половцев. Нет, следовательно, нужды видеть в выражении „стязи глаголютъ“ какого-то одушевления этих стягов, якобы предсказывающих нападение половцев. Движение половцев не стоит предсказывать — оно видно и слышно: о движении половцев говорит пыль, поднятая их войском, топот копыт, стяги, их клики.²

Слово „стяг“ имело в древне-русском языке и еще одно значение — полк, войско (ср.: „позрев же семь и семь и види стяг Василков стояще и добре борющъ и угры гонящу“, Ипатьевск. лет. под 1231 г.). Это значение слова „стяг“ находим мы в том месте „Слова о полку Игореве“, где автор воспроизводит бравурную поэтическую манеру Бояна: „Комони ржуть за Сулою, — звенить слава въ Киевѣ; трубы трубять въ Новѣградѣ, — стоять стязи въ Путивлѣ“, т. е. „Едва только вражеские кони появились за пограничной рекой Сулой, как слава о русской победе над врагами уже звенит в Киеве. Едва только трубы затрубили в Новгороде Северском, созывая войска, как войско („стяги“) уже собралось в Путивле“ (южный пункт Новгород-северского княжества, откуда новгород-северские войска выступали против половцев).

Наконец, следует обратить внимание и на следующее место „Слова“, где „стяги“ вновь выступают в их символическом значении: „сего бояни стаща стязи (т. е. приготовились к походу) Рюриковы, а друзья — Давидовы, нѣ розно ся имъ хоботы пашутъ“. Здесь следует прежде всего обратить внимание на слово „розно“. Оно не однажды употребляется в летописи для обозначения княжеской розни, но в сочетании со „щитами“ — символами защиты, обороны. Ср. в летописи — венгерский король передает следующие слова Изяславу Мстиславичу киевскому: „царь на мя грекъ вѣставаетъ ратью, и сее ми зимы и весны нелзѣ на конь к тебе всести; но обаче, отце, твой щит и мой не розно еста“ (т. е. я с тобою продолжаю находиться в оборонительном союзе) (Ипатьевск. лет. под 1150 г.); или: „и рекоша ему (Роману. — Д. Л.) Казимеричи: «мы быхом тебе раде помогле,

¹ Значение слова „тутнетъ“ — гудит под копытами лошадей — см. в одной из „Повестей о Мамаевом побоище“: „великия силы придоша, яко и земля тутнаше...“ (следовательно, „тутнет“ земля от движения войска).

² В связи с таким пониманием выражения „стязи глаголют“ следует несколько иначе ставить знаки препинания в этом месте, чем это принято в последних изданиях: „Стязи глаголют — половци идутъ“. Дальше начинается новая фраза: „Отъ Дона, и отъ моря, и отъ всѣхъ странъ Руския пльки остушиша“.

но обидить нас стрый свой Межька, ищеть под нами волости; а переже оправи нас, а быхом быле все ляхове не розно, но за одинем быхом щитом быле (вси) с тобою и мъстили быхом обиды твоя»¹ (Ипатьевск. лет. под 1195 г.).

В „Слове о полку Игореве“ мы находим вместо „щитов“ — „стязи“, очевидно потому, что речь идет не о совместной защите (где было бы уместнее говорить о „щитах“), а о совместном наступлении на степь, причем образ этот конкретизирован тем, что эти стяги представлены с развевающимися полотнищами („хоботами“), а самое понятие „розно“ относится к этому разеванию. Таким образом, обычный термин для обозначения союзных или не союзных отношений („твой щит и мой не розно еста“) конкретизирован, превращен в зрительно четкий образ. И здесь, как и в других случаях, автор „Слова“ не изобретает новых образов, сравнений, поэтических троп, — он как бы „вылущивает“ их из того, что уже имелось в языке, в сознании народа, в военном и феодальном обиходе своего времени, благодаря чему его образы легко воспринимались, были близки читателю.

* * *

Наряду с „мечем“, „стягом“, сложными ассоциациями был окружен в древней Руси XI—XIII в. и другой предмет вооружения русских войск — „копье“. Реальное значение „копья“ выходило за пределы только предмета вооружения.

По поводу копья А. В. Арциховский пишет: „Важнейшим оружием наравне с мечом было, конечно, копье. ... по курганным данным копье демократичнее меча. Но ни один обладатель меча, хотя бы и самого хорошего, без копья в бою обойтись не мог, потому что это оружие достает дальше. Длина древне-русского меча 70—90 см, длина копья, судя по изредка встречаляемым в курганах остаткам древков, 1.5—2 м. Даже князь, если ему приходилось лично вступать в бой, пользовался копьем. ... Древко в бою, сослужив свою службу, ломалось быстро. Копье могло треснуть и от собственного удара, но чаще об этом, конечно, заботились неприятели“.¹

Характерно, что битва ассоциировалась прежде всего с этим ломанием копий: „ту бе видети лом копийный и звук оружъный“ (Ипатьевск. лет. под 1174 г.); „ту беяше лом копейный“ (Новг. IV лет. под 1240 г.).

Аналогично этому, и в „Слове о полку Игореве“ битва ассоциируется прежде всего с этим ломанием копий: свое предвидение битвы автор „Слова“ конкретизирует словами: „ту ся копиемъ приламати“.

Поскольку копье было оружием первой стычки и почти всегда ломалось в ней, нам становится понятным и обычный в летописи термин — „изломить копье“, употреблявшийся для обозначения того, что воин первым принял участие в битве. Вот примеры, когда князь ломает копье в первой же стычке: „въеха Изяслав один в полки ратных и копье свое изломи“ (Лаврентьевск. лет. под 1147 г.); Андрей Боголюбский „въехав прежде всех в противныя, и дружина его по нем, и изломи копье свое в супротивье своем“ (Лаврентьевск. лет. под 1149 г.); „Андрей же Дюргевичъ възмѧ копье и еха наперед и съехася переже всих и изломи копье“ (Ипатьевск. лет. под 1151 г.); „Изяслав же Глебовичъ внук Юргев доспев с дружиною возма копье потъче к плоту

¹ Русское оружие X—XIII вв. Докл. и сообщ. историч. фак. МГУ, вып. 4, М., 1946, стр. 11.

кде бяху пеши вышли из города, твердь учинивше плотомъ. Он же въгнав за плот к воротам городнымъ, изломи копье“ (Лаврентьевск. лет. под 1184 г.).

Иногда выражение „изломить копье“ употреблялось только для обозначения первой боевой схватки князя, его личного участия в единоборстве перед общей битвой. „И тако перед всими полки въеха Изяслав один в полки ратных и копье свое изломи“ (Ипатьевск. лет. под 1151 г.). Этими словами летописец подытоживает свой предшествующий рассказ, где более подробно описывалось личное участие Изяслава в битве.



Символическое изображение взятия города приступом „копием“.

Миниатюра Радзивиловской летописи: Владимир Святославович берет приступом Полоцк, л. 163, верх

Итак, „изломить копье“ — это символ вступления в единоборство, символ личного участия князя в битве. Упоминание „изломления копья“ подчеркивает, что князь не только руководил сражением, но и сам единоборствовал, вступал в схватку с неприятелем. „О того же гордаго Филю, Льв, млад сы, изломи копье свое“ (Ипатьевск. лет. под 1249 г.) — говорит летописец, подчеркивая этим не потерю копья (оружья, как мы видели, дешевого), а факт единоборства Льва Даниловича с воеводой Филием.

Совсем иной характер носит термин „изломить копье“ в статье 18 „Краткой Правды“: „А иже изломить копье, любо щит, любо порт, а начнети хотети его держъжати у себе, то приати скота у него; а иже есть изломил, аще ли начнети приметати, то скотом ему заплатити, колко дал будеть на нем“. Здесь выражение „изломить копье“ не носит характера военного термина и военного символа. Его значение не шире его реального непосредственного представления.

Отсюда ясно, что слова Игоря Святославича „хощу бо... копие приломити конец поля Половецкаго...“ заключают в себе типичный

для военной символики XII в. образ, точное значение которого следующее: „Хочу вступить в единоборство в начале Половецкого поля“. Образ этот не измышен автором „Слова“.

Со словом „копье“ в летописях связывается целый ряд и других значений: „сунуть копием“ (Лаврентьевск. лет. под 946 г.), „ударить копием“ (Лаврентьевск. лет. под 945 г.), „побадывати копьи“ (Ипатьевск. лет. под 1281 г.), „взять копием“ и „добыть копием“. На этих последних выражениях следует остановиться подробнее. Вот их реальное употребление в летописи: „одоле Святослав и взя град копием“ (Лаврентьевск. лет. под 971 г.); под 1097 г. в Лаврентьевской летописи Володарь и Василько „взяста копьем град Всеволож“, ср. также „взяша град Рязань копьем“ (Ипатьевск. лет. под 1237 г.). Ср. слова Владимира Васильковича брату Мстиславу: „брате! ты мене ни на полону ял, ни копьем мя еси добыл, ни из городов моих выбил мя еси“ (Ипатьевск. лет. под 1287 г.). Вся эта символика, связанная в древней Руси с „копьем“, придает особый оттенок выражению „Слова“ „дотчеся стружием злата стола киевьского“. Всеслав Полоцкий не взял Киев „копием“ — он только „доткнулся“ его, всего семь месяцев пробыв киевским князем в 1068 г. Он взял его не военной силой, но и не мирным путем, прия к власти через восстание киевлян. Он „доткнулся“ золотого киевского стола „стружием“ — древком копья; сейчас бы мы сказали „прикладом“.

Загадочным представляется в „Слове“ только выражение „копия поють!“. В XII в. копье не было метательным оружием.¹ Следовательно здесь говорится не о пении копья в полете, подобном пению летящих стрел или летящих камней.² Фраза не укладывается в текст „Слова“ и ритмически. Она как бы оборвана, а возможно и искажена.

* * *

В дружинном быту древней Руси такое же особое место, как предметы „вооружения — меч, копье и щит, занимал боевой конь воина. В XII и XIII вв., в отличие от X и XI вв., русское войско было по преимуществу конным.³ Этого требовала прежде всего напряженная борьба с конным же войском кочевников. Но и вне зависимости от этого княжеский конь был окружен в феодальном быту особым ореолом. Летописец Даниила Галицкого уделяет особенное внимание любимым боевым коням своего господина.⁴ Летописец Андрея Боголюбского отводит особое место описанию подвига его коня, спасшего Андрея, и отмечает ту „честь“, которую воздал ему Андрей, торжественно его похоронив, „жалуя комоньства его“.⁵

¹ А. В. Арциховский пишет: „... копье на Руси предназначалось не для метания, а для удара. Метательное оружие... называлось иначе (сулица. — Д. Л.). Только в виде исключения, да и то в предыдущую эпоху, в X в. упоминается метание копья: «суну копьем Святослав древляны, и копье лете сквозе уши коневи, удари в ноги коневи, бе бо детеск. И рече Свенелд и Асмолд: князь уже почал; потягните, дружина, по князе». Здесь метание копья мальчиком-князем есть своего рода обряд, которым начинается бой» (там же, стр. 11—12).

² Иосиф Флавий (место русское): „И камень метаху пороками, и сулицы из лук пущаеми шумяху“. Барсов. Слово о полку Игореве как художественный памятник киевской дружинной Руси, т. I. М., 1887, стр. 244.

³ История культуры древней Руси, т. I. М., 1949, стр. 404 и сл.

⁴ Ипатьевская летопись под 1213 г. и 1255 г.

⁵ Лаврентьевская летопись под 1149 г.

Это особое положение боевого коня в феодальном быту XII—XIII вв. придало ему особую смысловую значительность. В коне ценилась прежде всего его быстрота. Это создало эпитет коня „борзый“, встречающийся и в летописи (Ипатьевск. лет. под 1213 г.), и в „Слове“ („А всядемъ, братие, на свои бръзыи комони“).

С конем же был связан в феодальном быту целый ряд обрядов. Молодого князя постригали и сажали на коня. После этого обряда „посажения на коня“ князь считался совершеннолетним.

Одним из наиболее значительных моментов выступления войска в поход было посадка войска на коней. Вот почему в летописи „сесть на коня“ означало „выступить в поход“. Отсюда такие выражения, как



Вдевание ноги в стремя.

Миниатюра Радзивиловской летописи: выступление русских князей к Каневу по призыву Святослава Киевского, л. 234, верх.

„сесть на коня против кого-либо“, или „сесть на коня на кого-либо“, или „сесть на коня за кого-либо“: „и вседоша (на кони) на Володимерка на Галичъ“ (Лаврентьевск. лет. под 1144 г.); „а сам Изяслав вседе на конь на Святослава к Новугороду иде“ (Ипатьевск. лет. под 1146 г.); Всеволод „вседе на конь про свата своего“ (Лаврентьевск. лет. под 1197 г.).

Характерно это употребление единственного числа „всесть на конь“, даже если речь идет о войске, о дружине или о нескольких лицах. Перед нами метонимия, ставшая в полном смысле термином, с утратой первоначального значения. Иное дело в „Слове о полку Игореве“, где обычно вскрывается, возрождается первоначальный образ, лежащий в основе того или иного термина или ставшего ходячим выражения. В „Слове“ мы читаем: „А всядемъ, братие, на свои бръзыи комони“, а не „комонь“ или „конь“, как обычно говорится в летописи.

Летопись отмечает не мало случаев, в которых слово „конь“ входит в состав различных военных терминов, образованных путем метонимии:

„ударить в коня“ — означает пуститься вскачь (Лаврентьевск. лет. под 1178 г.); „поворотить коня“ — уехать, отъехать или вернуться („и повороти коня [ед. число. — Д. Л.] Мстислав с дружиною своею от стрыя своего“, Лаврентьевск. лет. под 1154 г.); „взять за повод“ — остановить („берендееве же яша за повод, рекуше: «Княже, не езди!», Лаврентьевск. лет. под 1169 г.), „быть на коне“, „иметь под собою коня“ означало готовность выступить в поход (ср.: „И рекоша ему [Изяславу. — Д. Л.] угре: «мы гости есме твои; оже добре надешися на кияны, то ты сам ведаши люди своя, а комони под нами!», Ипатьевск. лет. под 1150 г.).

Употребление части вместо целого, как основа многих терминов XI—XII вв., еще более ясно проступает в выражении, которое встречается только в „Слове о полку Игореве“: „вступить в стремень“, в том же значении, что и обычное „всесть на конь“, т. е. „выступить в поход“. Это выражение „вступить в стремень“ построено по тому же принципу, что и ряд других терминов и метонимий „Слова“, летописи и обыденной, живой речи XI—XIII вв. Характерно при этом употребление термина „вступить в стремя“ с предлогом *за*: „Ступите, господа, в золотые стремена *за* обиду сего времени, *за* землю Русскую, *за* раны Игоревы, буйного Святославича!“, дающего полную аналогию вышеразобранному термину летописи „всесть на конь *за* кого либо“.

Вдевание ноги в стремя было самым важным моментом посадки князя на коня. В миниатюре Радзивиловской летописи на листе 234 изображен именно этот момент: оруженосец стоит на одном колене и держит одной рукой стремя, а другой — узду, в то время как князь Святослав вдевает ногу в стремя. Перед нами ритуал — „рыцарский“, дружинный. Автор „Слова“, создавая данный образ, не отступил от своего поэтического принципа: он берет не случайную ассоциацию, не просто „характерное“ положение, а тот самый момент, который и в самой действительности считался значительным и отмечался некоторым этикетом.

В известном смысле „стремя“ было таким же символическим предметом в дружинном быту XI—XIII вв., как и меч, копье, щит, стяг, конь и проч. „Ездить у стремени“ — означало находиться в феодальном подчинении. Так, например, Ярослав (Осмомысл) говорил Изяславу Мстиславичу через посла: „ать ездить Мъстислав подле твой стремень по одной стороне тебе, а яз по другой стороне подле твой стремень еждю, всими своими полки“ (Ипатьевск. лет. под 1152 г.). Кроме вассальной зависимости, нахождение у стремени символизировало вообще подчиненность: „галичаномъ же текущимъ у стремени его“ (Ипатьевск. лет. под 1240 г.).

Во всех приведенных нами выше выражениях „стремя“ выступает только как символ власти феодала. Все это придает особую значительность выражению „Слова“ „вступить в стремя“. Вступали в стремя только князья, когда же речь идет о дружине, автор „Слова“ употребляет обычное выражение „всесть на кони“: „А всядемъ, братие, на свои бръзыя комони“ обращается Игорь к своей дружине, но не „вступим в стремень“. Ведь вступают в стремя только князья: „тогда вступи Игорь князь въ златъ стремень и поѣха по чисту полю“; Олег „ступаетъ въ златъ стремень въ градѣ Тымутороканѣ“; „въступита, господина, въ злата стремена“ — обращается автор „Слова“ к Рюрику и Давыду Ростиславичам. В этом различии, которое делает автор „Слова“, несомненно сказалась его хорошая осведомленность в ритуале дружинного быта.

Встает еще один вопрос — не было ли таким же символом власти, положения, в известном отношении и „седло“. Если это так, то это ввело бы в тот же круг художественного мышления автора „Слова“ и другое выражение: „высъдъ из съдла зата, а въ съдло кошиево“. „Седло злато“ — это седло княжеское. Только княжеские вещи имеют этот эпитет — „стремя“, „шлем“, „стол“ (престол). Конечно, в основе этого эпитета лежат и реальные предметы, золотившиеся лишь в дорогом обиходе князя, но автор „Слова о полку Игореве“ отлично понимал и другое — ритуальную соотнесенность этих двух понятий „княжеского“ и „золотого“ как присущего специфически княжескому быту. Вот почему и само „слово“ князя Святослава „золотое“. Совсем иное



Ворота — символ города.

Миниатюра Радзивиловской летописи: победа над половцами Михалки и Всеволода и возвращение их в Киев, л. 211.

в „Задонщине“, где эта связь золота и князя утрачена: ср. „громят удальцы рускыя золочеными доспехы“ (Тр. ОДРЛ, VI, стр. 226); о русском войске: „А в них сияют доспех[и] золочены[е]“ (там же, стр. 228), „злаченым доспѣхом посвѣчива[ет]“ и Пересвет (стр. 229); „Рускии сынове поля широкыи кликом огородиша, золочеными [доспѣхи] освѣтиша“ (стр. 231).

* * *

В устройстве древне-русских городов такими же исполненными символического значения предметами были городские ворота и забралы стен. Я подчеркиваю, что значением этим обладали не слова „ворота“ и „забралы“, а самые вещи — самые материальные явления. Так же точно и не слова „меч“, „копье“... имели значимость феодальной символики, а самые предметы — сам меч, само копье, в силу чего они входили в ритуал, в обрядность, в этикет. На мечах клялись, мечи почитали, меч хранили, мечом „пасли“ — посвящали в высший ранг феодального общества, меч давали князю при отправке его на княжение и т. д. и т. п.

Символическое значение городских ворот было хорошо известно в древней Руси.

Мы можем догадываться, что не все ворота в городе обычно бывали облечены этим символическим значением, а только главные. Не случайно полотнища главных ворот обивались медными золочеными листами и на них ориентировалась архитектурная мысль строителей древнерусских городов (ср. „Золотые ворота“ в Киеве и во Владимире). Исследователь Ярославова города в Киеве М. К. Каргер пишет по поводу киевских Золотых ворот этого Ярославова города: „Главными воротами города, парадным городским порталом становятся южные Золотые ворота. Только эти ворота особо упомянуты в летописях и прологах сказаниях о строительной деятельности Ярослава. Только над этими воротами Ярослав соорудил надвратный храм. Именно с этими воротами связано наибольшее количество древних киевских легенд. Именно у этих ворот устраивали киевляне не раз торжественные встречи. Именно в эти ворота стремились войти и непрошенные гости, прохождением через Золотые ворота стремившиеся подчеркнуть свою победу над Киевом. Все парадное строительство Ярослава развертывается в южной части города между Золотыми воротами и Софийским собором“.¹

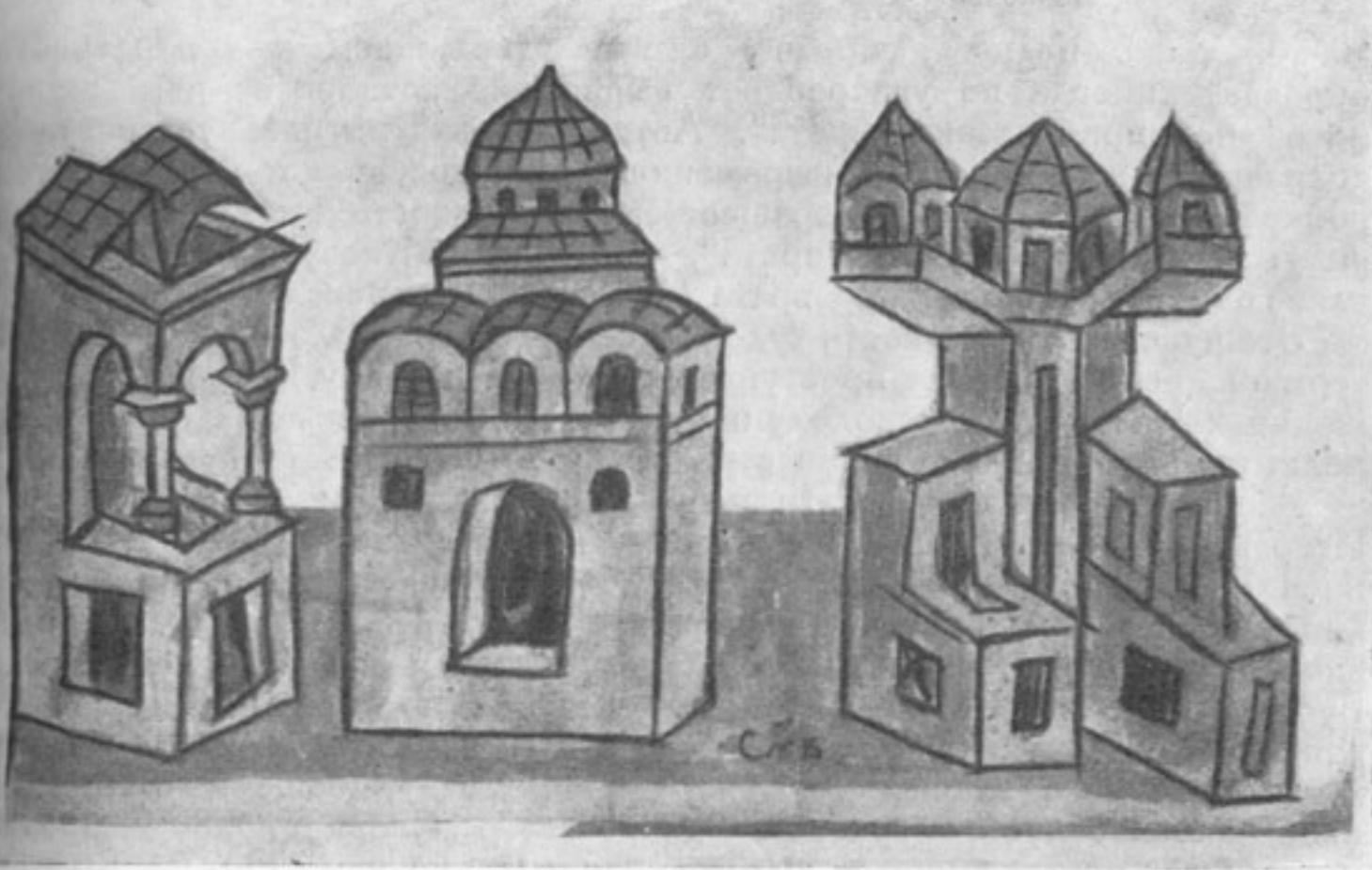
Особое значение главных ворот города в символике древне-русского феодализма не могло не отразиться и в языке. Ударить, „сесть“ в ворота означало напасть на город. В описании битвы под Киевом 1151 г. в Ипатьевской летописи говорится: „ту же и Севенча Боняковича дикого половина убила, иже башть рекл: «Хощю сечи в Золотая ворота, яко же и отец мой»“. Севенч Бонякович имеет в виду события 1096 г., когда Боняк напал на Киев „и мало в град не въехаша“, разгромил его „болонье“ и Киево-печерский монастырь, но самого города не взял. Севенч не надеется взять Киев, но он хочет „сечи“ в его ворота, т. е. напасть на него и погромить его округи.

Открыть главные ворота города или затворить их имело символическое значение. Действия эти свидетельствовали о желании горожан сложить оружие иликазать сопротивление. Именно в связи с этим образовался ряд выражений. Вместо того, чтобы сказать, что горожане решили сопротивляться, в летописи очень часто говорится: „затвориша врата“; вместо того, чтобы сказать, что город сдался, в летописи найдем: „отвориша врата“: „придоша ляхове на Володимер, и отвориша им врата володимерци“ (Ипатьевск. лет. под 1204 г.), „а вышегородци поклонишаася, отвориша врата“ (Новг. I лет. под 1214 г.).

В громадном большинстве случаев эти термины „отвориша врата“ и „затвориша врата“ употребляются без слова „в ата“. Так, например, в Ипатьевской летописи под 1123 г. рассказывается о том, как Ярослав Святополич подошел к городу Владимиру Волынскому и сказал: „То есть град мой; оже ся не отворите, ни выйдете с поклоном, то узрите завтра приступлю к граду и възму город“. Или: „Гюргий же приде к Белугороду, и рече белогородцем: «Вы есте люди мои; а отворите ми град». Белогородци же рекоша: «А Киев ти ся кое отворил?»“ (Ипатьевск. лет. под 1151 г.) и т. д.²

¹ М. К. Каргер. Резюме доклада „Архитектурный ансамбль Ярославова города в свете археологических исследований“, прочитанного в Ленинградском отделении Института истории материальной культуры АН СССР 18 июня 1949 г. (рукопись).

² „и не сме затворитися в Киеве один“ (Ипатьевск. лет. под 1174 г.); „и затвори все кыяны“ (Ипатьевск. лет. под 1174 г.); „затворися в городе“ (Ипатьевск. лет. под 1175 г.); „отвори град“ (Лаврентьевск. лет. под 1186 г.); „затвори город“ (Ипатьевск. лет. под 1288 г.).



Символическое изображение Владимира Залесского: в центре Успенский собор, справа Золотые ворота, слева княжеский дворец.
Миниатюра Радзивиловской летописи, л. 230.



Золотые ворота Владимира символизируют город Владимир.
Миниатюра Радзивиловской летописи: возвращение Всеволода Суздальского во Владимир, л. 228, верх.

„Слово о полку Игореве“, с его стремлением к конкретности образов, никогда не употребляет выражения „отворить“ или „затворить“ без прибавления „врата“. Автор „Слова“ не пользуется этими сокращениями и ходовыми выражениями. Он прибавляет „врата“ и тем конкретизирует термин, возвращает ему наглядность и художественную силу: „затворивъ Дунаю ворота“, „отворяеши Киеву врата“ (о Ярославе Осмомысле), „отвори врата Новуграду“ (о Всеславе Полоцком).

Это чувство конкретности художественного образа, лежащего в основе термина, особенно ярко проступает в „Слове о полку Игореве“ в обращении к Инъгварю, Всеволоду и всем трем Мстиславичам: „Загородите полю ворота своими острыми стрѣлами“.

В основе своей слова эти не выдуманы автором „Слова о полку Игореве“. Сходные слова мы прочтем и в рассказе Ипатьевской летописи о походе Игоря Святославича. В летописи они вложены в уста Святослава Всеволодовича; „воздохнув“ и утерев слезы (ср. „со слезами смешено“) произнес: „о люба моя братъя и сыновъ и муже земле Руское! дал ми бог притомити логаныя; но не воздержавше уности отвориша ворота на Русьскую землю“. В этих деловых словах нет художественного значения. „Отворить ворота“ — здесь только термин, означающий „впустить врагов“. Однако автор „Слова о полку Игореве“ использует этот термин с художественным умением. Он не говорит „затворите полю ворота“ как мы ожидали бы, если бы автор „Слова“ использовал это выражение только как термин. Термин этот автор „Слова“ *ощущает* во всей его конкретности. Вот почему он не может допустить в данном случае слишком прямого, зрительно ясного понимания этого термина, так как в широких просторах степных границ Руси было бы антихудожественным представить себе конкретные ворота, при этом еще отворявшиеся и затворявшиеся. Поэтому автор „Слова“ говорит не „затворите ворота“, а „загородите ворота“. Следующими тремя словами окончательно отводится зрительный конкретный образ полотнищ ворот. В „Слове“ сказано „своими острыми стрелами“. Перед глазами читателя встают не конкретные городские ворота, а „ворота“ — как некоторая брешь, как гигантский вход на Русскую землю, который можно только загородить стрелами.

В „Слове“, наконец, имеется и еще одно выражение, связанное с теми же воротами: Ярослав Осмомысл Галицкий высоко сидит на своем златокованном столе, „заступив королеви путь, затворив Дунаю ворота“. Смысл этого выражения, очевидно, в том, что Галицкий князь Ярослав затворил не какие-то воображаемые или действительные ворота Дуная (в этом смысле термин этот никогда не употребляется), а затворил ворота своей земли *от Дуная*. Как явствует из всех приведенных выше примеров, „отворить“ ворота можно и свои и чужие (последние насильно), „затворить“ ворота можно только свои. Выражение это, следовательно, отнюдь не означает, что Ярослав „затворил ворота на Дунае“ или „Дунайские“, а затворил их *от стран, находящихся по Дунаю*, в первую очередь от Византии, с которой Ярослав на Дунае имел смежные границы (ср. выше „загородите полю ворота“, т. е. „от поля“).

III

Выше мы показали некоторые художественные образы „Слова о полку Игореве“, выросшие на почве военной символики военной терминологии и военных обычаях XI—XII вв. Символика феодального быта также отразилась в „Слове“.

Феодальный быт XI—XII вв. был связан на Руси со сложным этикетом. Этикет этот распространялся на весь быт верхов феодального общества: княжеский, дружины, боярский. Княжеские постриги и обряд посажения князя на коня (Ипатьевск. лет. под 1192 г.), совещания на ковре (Лаврентьевск. лет. под 1100 г.: „да се еси пришел и седиши с братиою своею на одном ковре“), совещания верхом на конях (Ипатьевск. лет. под 1150 г.), заключение мира, выступление в поход и т. д.— все это было обставлено известным церемониалом, в свою очередь отразившимся в языке — в появлении новых терминов и в обрядовых формулах. Так например, выражение „стать на костях“ — выражение, обычно означающее „одержать победу“, — не является просто „формулой воинских повестей“, а связано с каким-то церемониальным моментом, о котором нам напоминают немногие лишь намеки в летописи („и Лъв ста на месте, воиномъ посреде трупъя, являюща победу свою“, Ипатьевск. лет. под 1249 г.).

Попали в летопись и некоторые из словесных формул, употреблявшихся в церемониале. Так, например, в настойчиво повторяющейся летописью формуле „а ты нашъ князъ“ можно подозревать формулу принятия князя горожанами (Ипатьевск. лет. под 1150, 1154, 1159, 1289 гг.; во всех этих случаях, принимая князя, горожане говорят ему эти слова; ср. также в новгородских летописях).

Поговорка „Мир стоить до рати, а рать до мира“ очевидно употреблялась как приглашение начать мирные переговоры (Ипатьевск. лет. под 1148 и 1151 гг.).

Такую же формулу мы можем подозревать и в известном лирическом, дважды повторенном, восклицании „Слова“ „А Игорева храбраго пльку не крѣсити“. Эта формула возникла еще в дофеодальный период. Повидимому, первоначально она означала отказ от родовой мести. Именно в этом смысле ее употребляет Ольга: „уже мне мужа своего не кресити“ (Лаврентьевск. лет. под 945 г.). В таком смысле она употребляется изредка и позднее. В 1015 г. Ярослав говорит новгородцам про свою побитую дружину „уже мне сих не кресити“. Словами этими Ярослав отказывается от мести за свою дружину. В 1148 г. именно этой формулой Ольговичи отказываются от мести за убийство Игоря Ольговича: „уже намъ не воскресити брата своего, князя Игоря Ольговича“ (Никоновск. лет. под 1148 г.). Однако с отмиранием обычая родового общества формула эта стала употребляться как обычное утешение, как признание невозвратимости утраты. Эти слова говорит Изяслав Мстиславич Изяславу Давидовичу, утешая его в смерти брата: „и слыша Изяслав плачущася над братомъ своимъ Володимеромъ, и тако оставя свою немочь, и всадиша ѝ на конь и еха тамо, и тако плакашеть над ним, аки и по брате своем; и долго плақав, а рече Изяславу Давыдовичю: «Сего нама уже не кресити...»“ (Ипатьевск. лет. под 1151 г.).

В „Слове о полку Игореве“ эта формула „уже не кресити“ употребляется не как формула отказа от мести, а в более новом значении — как формула утешения. Здесь в контексте „Слова“ как формула утешения она приобретает и особое лирическое звучание.

* * *

С феодальными счетами связан целый ряд терминов: „явить вину“ (Лаврентьевск. лет. под 1097 г.), „учинить неправду“, „погубить правду“ („Мне еси учинил неправду, а себе еси погубил“, Ипатьевск. лет. под

1254 г.), „подкладывать вину“ (Ипатьевск. лет. под 1105 г.), „отдать гнев“ (Ипатьевск. лет. под 1195 г.), „держать гнев“ (Ипатьевск. лет. под 1251 г.), „предаться“ (Лаврентьевск. лет. под 1127 г.), „утвердиться“ („утвердиться с людьми“, Ипатьевск. лет. под 1154 г.), „соступиться чего либо“ („съступи Дюрги Киева“, Ипатьевск. лет. под 1149 г.), „иметь часть в чем-либо“ („тако ли мне части нету в Руской земли“, Ипатьевск. лет. под 1148 г.), „ловить голову“ („ловять головы моей“, Ипатьевск. лет. под 1189 г.) и др.

В одном случае автор „Слова“ использует и переиначивает формулу раздела феодальных притязаний: „се мое, а то твое“. Формула эта неоднократно встречается в договорах князей между собой.

Она связана обычной антитезой „мы себе, а ты тебе“, „твой мець, наше голови“, „яко земля ваша, тако земля моя“ и т. д.

Вот раздел Изяслава Мстиславича с Владимиром и Изяславом Давидовичами. Изяслав Мстиславич говорит: „Что же будет Игорева в той волости, челядь ли товар ли, то мое; а что будет Святославе челядь и товара, то разделим на части“ (Ипатьевск. лет. под 1146 г.).

Автор „Слова о полку Игореве“ нарушает эту двучастность, он сатирически изображает договоры князей и пишет не „се мое, а то твое“, а „се мое, а то мое же“, подчеркивая этим стремление князей захватить себе как можно больше. Таким образом, и здесь термин, формула перерастает в образ, становится средством художественного воздействия.

* * *

К феодальной терминологии принадлежит и слово „обида“. Его значение не покрывается понятием „оскорбление“ или современным значением слова „обида“.¹ Его основное значение в XII—XIII вв.—нарушение права, несправедливость. Это значение выработалось в обстановке усиленных феодальных счетов. Первоначальное его значение как нарушения права отчетливо выступает уже в „Русской Правде“: „оже ли себе не может мъстити, то взяти ему за обиду 3 гривне, а летцю мъзда“ (2 статья „Краткой Правды“); „Аще утнеть мечем, а не вынем его, любо рукоятью, то 12 гривне за обиду“ (4 статья „Краткой Правды“, ср. статьи „Краткой Правды“ 7, 11, 13, 15, 19, 29, 33, 37, 43, и „Пространной Правды“ 23, 34, 46, 47, 59, 60, 61).

Впоследствии слово „обида“ все чаще и чаще употребляется в отношении нарушений именно княжеских феодальных прав и приобретает все более и более отвлеченное значение. Так, например, Изяслав Мстиславич отрядил брата своего Владимира к венгерскому королю со словами: „оже, брате, твоя обида, то не твоя, но моя обида, паки ли моя обида то твоя“ (Ипатьевск. лет. под 1150 г.); в другом случае Изяслав Мстиславич и Вячеслав отрядили Мстислава Изяславича к венгерскому королю со словами: „нама дай бог неразделно с тобою быти ни чим же, но а что твоя обида кде, а нама дай бог ту самем быти за твою обиду“ (Ипатьевск. лет. под 1151 г.); венгерский король в свою очередь передал Изяславу: „Отце! кланяютися, прислал еси ко мне про обиду галичкаго князя, а яз ти зде доспеваю...“ (Ипатьевск. лет. под 1152 г.). Ср. также: „отец твой бяше слеп, а яз отцю твоему до съти послужил своим копием и своими полками за его обиду“

¹ В „Материалах для Словаря древне-русского языка“ И. И. Срезневского слово „обида“ имеет только значения „обида, оскорбление“, „ссора“ и „вражда“.

(Ипатьевск. лет. под 1152 г.); „и послаша Лариона сочьского къ Гюргю: «Кланяем ти ся; нету ны с тобою обиды, с Ярославомъ ны обида»“; „а в обиду его дай ми бог голову свою сложити за нь“ (Ипатьевск. лет. под 1287 г.); „стоять за тобою во твою обиду“ (Ипатьевск. лет. под 1287 г.), и т. д.

Из приведенных примеров ясно, что мстить друг другу обиды, „стоять“ за свою обиду и обиду своего главы было главною „обязанностью“ феодала.

Значение этого понятия „обида“ было очень велико в феодальном обществе.

Автор „Слова о полку Игореве“ олицетворяет эту „обиду“: „въстало обида въ силахъ Дажьбожа внука“. Это выражение „въстало



Поверженный стяг.

Миниатюра Радзивиловской летописи, л. 223 об., верх.

обида“ следует сопоставить с аналогичным выражением летописи — „встало зло“ (ср. в словах Мономаха под 1097 г.: „то большее зло встанет в нас“, Лаврентьевск. лет.). Это обычное древне-русское выражение автор „Слова“ использует как исходный момент для целой картины. Здесь, как и в других местах, автор „Слова о полку Игореве“ ощущает язык во всей его конкретности; термин рождает образ; термин „встало обида“ рождает образ девы обиды: „въстало обида въ силахъ Дажьбожа внука, вступила дѣвою на землю Троянию, въсплескала лебедиными крылы на синѣмъ море у Дону; плещучи, упусти жирня времена“.

Но самым замечательным в употреблении термина „обида“ является другое. Слово „обида“ в летописи употребляется не одну сотню раз. Оно употребляется во всех случаях, когда речь идет о нарушении или возможном нарушении прав князя, княжества, города („кде будет обида Новугороду, тебе потянути за Новъгород с братом своим“ — Договорная грамота Тверского великого князя Михаила Ярославича

с Новгородом 1301—1302 гг.) или даже монастыря („а от кого будет какая обида нашему монастырю, ино досмотрят и боронить нам самим“). Запись при кн. Еванг. чт. Публ. библ. д. 1400 г. — цитирую по И. И. Срезневскому, стр. 503). Однако в летописи термин этот никогда не употребляется в отношении всей Русской земли в целом. Иное в „Слове о полку Игореве“: „Вступита, господина (Рюрик и Давыд Ростиславичи), въ злата стремень за обиду сего времени, за землю Русскую, за раны Игоревы, буего Святъславлича!“; „въстала обида въ силахъ Дажьбожавнука“ (т. е. в русских войсках в целом). Тем самым автор „Слова“ открывал путь для более широкого понимания слова „обида“, освобождал это понятие от его феодальной ограниченности, обращал внимание читателей на „обиду“ всей Русской земли в целом.

Здесь, как и в других местах „Слова“, автор его пользуется привычными выражениями, привычными образами своего времени, но придает им художественное содержание и влагает в них элементы новой идеологии.

* * *

Такое же переосмысление феодальных понятий видим мы и в следующих словах „Слова о полку Игореве“. „Бориса же Вячеславича слава на судъ приведе“. Битва между феодалами, междоусобная битва часто рассматривалась в XI—XII вв. как суд божий, как суд оружием в феодальных спорах: выигравший битву оказывается и оправданным этим „судом божиим“. Так, например, в 1151 г. Изяслав Мстиславич Киевский перед битвой у Перемышля с Владимиром Галицким говорит: „се уже мы идем на суд божий“ (Ипатьевск. лет. под 1151 г.). Вот почему все требования князей друг к другу подкреплялись этим указанием на божественный суд: „а како нам бог дасть“ (Ипатьевск. лет. под 1150 г.), „акоже ти с ним бог дасть“ (там же), „атъ вси по месту видим, што явить ны бог“ (Ипатьевск. лет. под 1151 г.), „а тогда како ны бог дасть с ним“ (там же); „да бог за всим“ (там же); „оже бог дасть“ (там же), „а то богови судити“ (там же), „како нам с ним бог дасть“ (Ипатьевск. лет. под 1152 г.), „како ми с ним бог дасть, да любо аз буду в Угорьской земли, либо он в Галичской“ (там же), „а нама с королем с тобою како бог дасть“ (там же), „како ны с ними бог дасть и святая богородица“ (Лаврентьевск. лет. под 1176 г.), „как ны бог дасть“ (Ипатьевск. лет. под 1185 г.), „но како ны бог дасть“ (там же), „што нам бог даст“ (Ипатьевск. лет. под 1194 г.), „не хощеши ли того створити, а за всим бог“ (там же), „ныне же, брате, поеди, а видеве оба по месту, что нам бог дасть, любо добро, любо зло“ (там же), и т. д., и т. п.

Автор „Слова“ пользуется дважды этим типичным для XII в. представлением о битве как о высшем суде, но с характерным отличием: битва для него не суд между спорящими князьями, не суд о том, кто из них прав, а суд над всей деятельностью князя; судится не спор между князьями, судится сам князь за все его поступки: „Бориса же Вячеславича слава на судъ приведе и на Канину зелену паполому постла за обиду Олгову, храбра и млада князя“. Здесь нет и намека на то, что суд этот божий. Здесь, как и в других местах „Слова“, элементы христианского объяснения вытравливаются из „Слова“ (см. стр. 13 и 14) и самое понятие „суда“ шире, чем феодальное представление о битве как о суде оружием. Ближе всего к этому выражению „Слова о полку Игореве“ — „Бориса же Вячеславича слава на

судъ приведе“ слова Мстислава Владимира в письме к своему отцу — Владимиру Мономаху по поводу гибели своего брата Изяслава в сражении с Олегом „Гориславичем“: „а братцю моему суд пришел“.

Наконец, то же широкое и мудрое представление о судьбе человека как о суде за всю его деятельность, но на этот раз в христианской трансформации, встречаем мы в „Слове“ в оценке всей деятельности Всеслава Полоцкого: „Тому вѣщей Боянъ и пръвое припѣвку, смысленый, рече: «Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божия не минути»“.

И здесь, следовательно, привычное для XII в. представление в „Слове“ получает художественное звучание и более широкое идеиное содержание. Понятие „суда божьего“ автор „Слова“ понял и более широко, и более по народному, чем это было принято в феодальной среде его времени.

IV

Мы видели выше, что многое в художественных образах „Слова“ рождалось самою жизнью, шло от разговорной речи, от терминологии, принятой в жизни, из привычных представлений XII в. Автор „Слова“ не придумывал новых образов, а умел их уловить в самой русской речи; в русской же устной речи они были теснейшим образом связаны с действительностью, с дружинным, феодальным бытом XI—XII вв. Многозначность таких понятий, как „меч“, „копье“, „щит“, „стяг“ и т. д. были подсказаны особенностями употребления самих этих предметов в дружинном обиходе. Были полны символического „метафорического“ смысла не слова их обозначавшие, а самые вещи, обычаи, жизненные явления. „Меч“, „копье“, „стремя“ входили в ритуал дружинной жизни, и отсюда уже слова получали свою многозначность, свой художественный, конкретно-образный потенциал.

Не все стороны действительности могли давать материал для художественных сравнений, метафор. Арсеналом художественных средств были по преимуществу те стороны быта, действительности, которые сами по себе были насыщены эстетическим смыслом. Мы видели их уже в войне и в феодальном быте. Ниже мы увидим, что их в изобилии рождала также соколиная охота, пользовавшаяся широким распространением в феодальной Руси. Владимир Мономах говорит в „Получении“ об охотах наряду со своими походами. И те и другие в равной мере входили в его княжеское „дело“. Соколиную охоту имеет в виду и „Русская Правда“, назначая штраф в три гривны за кражу ловчих птиц в чьем-либо перевесе. Эпизод охоты дошел до нас в рассказе „Повести временных лет“ под 975 г. За XII и XIII вв. княжеская охота неоднократно упоминается в Ипатьевской летописи. Сам Игорь Святославич забавлялся ястребиною охотою в половецком пленау.

Не может быть сомнения в том, что охота с ловчими птицами (соколами, ястребами, кречетами) доставляла глубокое эстетическое наслаждение. Об этом свидетельствует позднейший „Урядник сокольничего пути“ царя Алексея Михайловича. „Урядник“ называет соколиную охоту „красной и славной“, приглашает в ней „утешаться и наслаждаться сердечным утешением“. Основное в эстетических впечатлениях от охоты принадлежало, конечно, полету ловчих птиц. „Тут дело идет не о добыче, не о числе затравленных гусей и уток, — пишет С. Т. Аксаков в „Записках ружейного охотника“, — тут охотники наслаждаются ревностью и красотою соколиного полета или, лучше сказать, неимоверной

быстротой его падения из-под облаков, силою его удара". „Красно-смотрителен же и радостен высокого сокола лет“, — пишет и „Урядник“.

Вот почему образы излюбленной в древней Руси соколиной охоты так часто используются в художественных целях. В этом сказались до известной степени особенности эстетического сознания древней Руси: средства художественного воздействия брались по преимуществу из тех сторон действительности, которые сами обладали этой художественной значительностью, эстетической весомостью.

Образы соколиной охоты встречаются еще в „Повести временных лет“: „Боняк же разделился на 3 полки, и сбирая угры аки в мяч, яко се сокол сбивает галице“ (Лаврентьевск. лет. под 1097 г.). В этом образе „Повести временных лет“ есть уже то противопоставление соколов галицам, которое несколько раз встречается и в „Слове о полку Игореве“. Противопоставление русских — соколов — врагам — воронам есть и в Псковской первой летописи. Александр Чарторыйский передает московскому князю Василию Васильевичу: „Не слуга де я великому князю и не буди целование ваше на мне и мое на вас; коли де учнуть псковичи соколом вороны имать, ино тогда де и мене Черторийского воспомяните“.¹

Несколько раз в летописи встречается указание на быстроту птичьего полета; как бы мечтая о возможности передвигаться с такою же быстротою, Изяслав Мстиславич говорит о своих врагах: „да же ны бог поможеть, а ся их отобъем, то ти не крилати суть, а перелетевше за Днепр сядут же“ (Ипатьевск. лет. под 1151 г.). Тот же образ птичьего полета встречается и в рассказе Ипатьевской летописи о походе Игоря 1185 г. Дружина жалеет, что Игорь не может перелететь как птица и соединиться с полками Святослава: „Потом же гада Игорь с дружиною, куды бы (мог) переехати полки Святославле; рекоша ему дружина: Княже! потьски не можешь перелетети; се приехал к тебе мужь от Святослава в четверг, а сам идеть в неделю ис Киева, то како можеши, княже, постигнути“. Игорь же торопился, ему было „не любо“ то, что сказала ему дружина (Ипатьевск. лет. под 1185 г.). Тот же образ птичьего полета, позволяющего преодолевать огромные пространства, видим мы и в „Слове“: „Великий княже Все́володе! Не мыслию ти прелетѣти издалеча отня злата стола поблюсти?“. Встречается в летописи и сравнение русских воинов с соколами: „Приехавшим же соколомъ стрелцемъ, и не стерпевшимъ же людемъ, избиша е и роздрашася“ (Ипатьевск. лет. под 1231 г.). Именно это сравнение, излюбленное и фольклором, чаще всего употреблено в „Слове о полку Игореве“: „се бо два сокола слѣтѣста“; „коли соколъ въ мытыхъ бываетъ, высоко птицъ възвивается: не дастъ гнѣзда своего въ обиду“; „высоко плаваеши на дѣло въ буести, яко соколъ на вѣтрехъ ширяся, хотя птицю въ буйствѣ одолѣти“; „Инъгварь и Все́володъ и вси три Мстиславичи, не худа гнѣзда шестокрилци“; „Аже соколъ къ гнѣзу летитъ, а вѣ соколца опутаевъ красною дивицею“.

Замечательно, что во всех этих сравнениях воинов-дружиинников и молодых князей с соколами перед нами сравнения развернутые, рисующие целые картины соколиного полета, соколиной охоты в охотничьих терминах своего времени (соколы „слѣтѣста“, сокол бывает „въ мытыхъ“ и тогда „не дастъ гнѣзда своего въ обиду“, сокол „вы-

¹ Псковск. I летопись под 1461 г. М.—Л., 1941, стр. 219.

соко плавает“, т. е. парит, собираясь „птицю въ буйствѣ одолѣти“, сокола „опутывают“, т. е. надевают ему на ноги „путинки“ и т. д.).

Весьма возможно, что и образ „пардуса“, встречающийся и в летописи (сравнение с пардусом Святослава Игоревича под 964 г.), и в „Слове“ („пардуже гнездо“), связан с охотой с помощью ловчих зверей.¹ Как показал Н. В. Шарлемань, „пардус“ (гепард) был охотничим зверем в древней Руси.²

Я не останавливаюсь подробнее на образах „Слова“, связанных с охотой, на употребляющейся в нем охотничей терминологии („влѣкомъ рыскаше“, „влѣкомъ прерыскаше“, „дорыскаше“, „нарыщаще“, „слѣдъ править“, „гнѣздо“ зверей в значении „выводок“, „опуташа въ путинѣ желѣзны“, „галици стады“, „соколца опутаевъ“): все эти охотничии термины прекрасно объяснены в работе Н. В. Шарлемана.³

Замечательно, что в „Слове“ нет никаких книжных сравнений со зверями. Все звери и птицы, упоминаемые в „Слове“, — русские звери, звери лесо-степной и степной полосы Руси. В „Слове“ нет излюбленных в древне-русской книжности сравнений со львом, крокодилом и т. д. Вот почему, между прочим, совершенно невероятно предположение, что отрывок Ипатьевской летописи с характеристикой Романа, где эти сравнения со львом и крокодилом как раз встречаются,⁴ входил когда-то в состав „Слова о полку Игореве“.

„Слово“, следовательно, насыщено конкретными, зрительно четкими образами русской соколиной охоты. В своей системе образов оно исходит из русской действительности в первую очередь.

V

Особая группа образов в „Слове о полку Игореве“ связана с географической терминологией и географической символикой своего времени.

К. В. Кудряшов, исследуя направление походов Владимира Мономаха, пришел к следующему выводу: „Самое выражение «Дон», «с Дона» применяется иногда летописцем как общее географическое обозначение для всей области Дона за Северским Донцом, для всего великого поля Половецкого“.⁵

Определение страны по протекающей в ней реке чрезвычайно характерно для летописного изложения; ср. о Ярополке: „Он же седя Торжку поча воевати Волгу“ (Лаврентьевск. лет. под 1182 г.), или „томъ же лете ходи Вячеслав на Дунай“ (Ипатьевск. лет. под 1116 г.) и т. п. Выражение „ходить на Волгу, на Оку“, „повоевать Сулу“ и т. д. — постоянны в летописи. Те же определения страны по реке встречаем и в „Слове о полку Игореве“: „половци неготовами дорогами побѣгоша

¹ Небезинтересно отметить, что подобно тому, как в соколиной охоте главное эстетическое удовольствие доставляла быстрота полета сокола, так и в охоте с пардусом (гепардом) привлекала быстрота его передвижений — прыжков. В „Повести временных лет“ сравнение Святослава с пардусом идет именно в этом направлении: „легко ходя, аки пардусъ“.

² Из реального комментария к „Слову о полку Игореве“. Тр. ОДРЛ, т. VI, стр. 119—121.

³ Там же, стр. 122—123.

⁴ „Устремил бо ся бяше на поганыя яко и лев, сердит же бысть яко и рысь, и губяше яко и коркодил, и прехожаше землю их яко и орел, храбор бо бе яко и тур“ (Ипатьевск. лет. под 1201 г.); ср. о нем же под 1252 г.: „изоострился на поганыя, яко лев“ (там же, под 1252 г.).

⁵ К. В. Кудряшов. Половецкая степь. М., 1948, стр. 117.

къ Дону великому“, „Игорь къ Дону вои ведеть“, „Кончакъ ему слѣдъ править къ Дону великому“, „итти дождю стрѣлами съ Дону великаго“, „ту ся саблямъ потручили о шеломы половецкыя, на рѣцѣ на Каяль, у Дону великаго“, „половци идутъ отъ Дона“, „на синѣмъ море у Дону“, „суды ряда до Дуная“, „скочи влѣкомъ до Немиги“, „на Немизѣ снопы стелютъ головами“, „Игорь мыслию поля мѣрить отъ великаго Дону до малаго Донца“, „дѣвицы поютъ на Дунаи“ и т. д., и т. п. Если не считать городов, то все страны определяются в „Словѣ“ не по княжествам, а по рекам, и нельзя не видеть в этом народного определения земель. В связи со сказанным становится нам понятным и выражение „Слова“ „затворивъ Дунаю ворота“: „Дунай“ здесь — страны и народы по Дунаю, подвластные Византии, от которых затворяет ворота своей реки Ярослав Осмомысл (см. об этом также стр. 82).

Корни этих настойчивых определений стран по рекам понятны: реки в древности имели гораздо больший удельный вес в экономической жизни страны, чем в новое время: в промысле, в торговле и как пути сообщения. Не случайно и „Повесть временных лет“, давая в своей вводной части географическое описание Русской земли, ведет его по рекам: Днепру, Волге и Западной Двине. В связи с этим становится понятным и значение реки как символа страны. Это символическое значение реки отразилось и в обычаях, и в языке. Генрих Латвийский рассказывает, что „литовцы под Кукенойсом кинули копье в Двину в знак разрыва мира с немцами.¹ Нечто подобное находим мы и на Руси: под 1245 г. Ипатьевская летопись рассказывает о том, что Василько Романович стреляет через Вислу, объявляя войну Польше.

Наконец, нельзя не отметить и распространенный в древней Руси символ победы над тою или иною страною: испить воды из ее реки. Ср. в похвале Роману Мстиславичу: „тогда Володимер Мономах пил золотом шоломом Дон, и приемлю землю их всю, и загнавши оканьные агаряны“ (Ипатьевск. лет. под 1201 г.), ср. требование Юрия Всеволодовича, обращенное им к новгородцам: „Выдайте ми Якима Иванковиця, Микифора Тудоровиця, Иванка Тимошкиниция, Сдилу Савиниция, Вячка, Иванца, Радка; не выдадите ли, а я поиль есмь коне Тѣхверью (т. е. занял уже Торжок на Тверце), а еще Волховомъ напою“ (т. е. „займу и Новгород“ — Новг. I лет. по Синод. сп. под 1224 г.). Символ этот устойчиво держится в русской жизни. В XVI в. его употребляет Иван Грозный в письме к Курбскому: „и коней наших ногами переехали вси ваши дороги из Литвы и в Литву, и пеши ходили, и воду во всех тех местах пили, ино уж Литве нельзя говорити, что не везде коня нашего ноги были“.²

В XVII в. символ этот употребляют казаки в „Повести об Азовѣ“: „козаки его (русского царя) с Азова оброк берут и воды из Дону пить не дают“.

Этот символ победы неоднократно употребляется и в „Словѣ о полку Игоревѣ“. Дважды говорится в „Словѣ“ — „а любо испити шеломомъ Дону“, — как о цели похода Игоря. В обращении к Всеволоду Юрьевичу Большое Гнездо автор „Слова“ говорит: „ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти!“ Это несколько сильнее, чем „испить Волги“ или „испить Дону“, но несомненно принадлежит к тому же гнезду символов, связанных с рекой —

¹ Генрих Латыш. Хроника Ливонии. М.—Л., 1938, стр. 161.

² РИБ, XXXI 1914, стр. 123.

страной. Слова эти означают: „ты можешь победить до конца страны по Волге (т. е. болгар, с которыми Всеволод неоднократно воевал) и страны по Дону“ (т. е. половцев). Одновременно слова эти дают представление и о количестве войска Всеволода. Его так много, что если бы каждый воин испил из реки шлемом, то вычерпали бы ее. Его так много, что весла гребцов „раскропили“ бы Волгу. И здесь, следовательно, как и в других случаях в „Слове“, обычный средневековый символ или термин конкретизирован, сделан зрительно наглядным. Символ здесь одновременно и образ.

Упоминание вычерпанной реки как знака полной победы над населявшими ее берега народами встречается и в летописи. Под 1201 г. сказано о хане Кончаке — „иже снесе Сулу, пешь ходя, котел нося на плечеву“. Здесь имеется в виду победоносный поход хана Кончака в Переяславскую область 1185 г. Тот же символ вычерпанной реки, как побежденной страны лежит и в основе характеристики „Словом“ победоносного похода Святослава Киевского 1184 г. О Святославе сказано: „изсушилъ потоки и болота“. Здесь и символ и реальность одновременно: при передвижении большого войска всегда требился путь и мостились мосты, замащивались „грязивые места“. Следовательно и в данном случае символ конкретизирован в „Слове“. Меткость его в том, что он несет две нагрузки: символическую и реальную. Еще больший отход от первоначального символа победы в сторону превращения этого символа в художественный образ имеем мы в том месте „Слова“, где говорится о том, что и на юге, и на северо-западе русские в равной мере терпят поражение от „поганых“ (т. е. от языческих половецких и литовских племен). „Уже бо Сула не течеть сребреными струями къ граду Переяславлю, и Двина болотомъ течеть онымъ грознымъ полочаномъ подъ кликомъ поганыхъ“. И Сула и Двина — две пограничные русские реки — лишились своих вод как знак поражения и, вместе с тем, они уже как бы не могут служить реальными препятствиями для врагов Руси.

* * *

Несмотря на всю сложность эстетической структуры „Слова“, несмотря на то, что в основе многих образов „Слова“ лежат военные, феодальные, географические и тому подобные термины своего времени, обычаи, формулы и символы эпохи феодальной раздробленности, взятые из разных сфер языка и из разных сторон действительности, поэтическая система „Слова“ отличается строгим единством. Это единство обусловлено тем, что вся терминология, все формулы, все символы подверглись в „Слове“ поэтической переработке, все они конкретизированы, образная сущность их подчеркнута, выявлена и все они в своей основе связаны с русской действительностью XII в. и все они в той или иной мере подчинены идейному содержанию произведения.

Автор „Слова“ никогда не создает совершенно новых образов, не „изобретает“ своих образов, основываясь только на внешнем сходстве явлений. Он пользуется уже готовыми образами, беря их отовсюду: из фольклора, из обыденной речи, из терминологии, из феодальной и военной символики своего времени и т. д. Личное творчество автора „Слова“ выражается в том, что он придает новое звучание этим обычным образам, вкладывает в них новое содержание, делая их многозначными, и, вместе с тем, стремится к ясности, наглядности, зритель-

ной четкости каждого из образов. Все вводимые им образы несут, вместе с тем, идейную нагрузку, отвечают общим задачам всего произведения в целом.

Весьма важно при этом отметить, что в „Задонщине“, заимствующей многие поэтические образы из „Слова“, их поэтическая сущность, столь ярко выраженная в „Слове“, оказалась непонятой.

В „Задонщине“ „стязи ревутъ“¹ — в „Слове“ они „глаголуютъ“ (т. е. „свидетельствуют“). В „Задонщине“ жены коломенские обращаются к Дмитрию: „замъкни, князь великии, Оке реке ворота, чтобы потомъ поганые к намъ не ъздили“² — в „Слове“ же — „затворивъ Дунаю ворота“ в совсем ином, правильном и обычном для XII в. значении.

В „Задонщине“ в отличие от „Слова“ золото не есть принадлежность княжеского быта: простой чернец Пересвет „посвечивает“ „злаченым доспехом“³ русские воины „гримят“ „золочеными доспехами“. Между тем в „Слове“ эпитет „золотой“ применяется только к вещам княжеского быта, в строгом соответствии с представлениями XII в. и с исторической реальностью.

Для автора „Задонщины“ поле Куликово — это „судное место“⁴, что резко противоречит представлениям XII в. Для автора XII в. „судом божиим“ были только междоусобные битвы; для него это понятие вполне точное и не применимое к битвам с русскими врагами.

Отсюда ясно, что поэтическая система „Слова“ — есть поэтическая система XII в., тогда как поэтические приемы „Задонщины“ частично механически заимствованы из „Слова“ без достаточного понимания их поэтической сущности, частично же отражают другую поэтическую систему — систему конца XIV — начала XV вв.

Из всего изложенного следует и другой вывод: „Слово о полку Игореве“ — это не произведение рафинированной книжной культуры, доступной для немногих и замкнутой в традициях какой-либо узкой литературной школы. „Слово о полку Игореве“ — произведение народное в самом глубоком смысле этого слова; его художественное существо было широко доступно всем, так же как идеи его — были идеями, отвечавшими потребностям широких трудовых масс.

Ленинград



¹ Труды ОДРЛ, т. VI, стр. 231.

² Там же, стр. 230.

³ Там же, стр. 239.

⁴ Там же, стр. 230.